

— СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК —

παράλιπονένων

*Николай
Щеголев*

Победное отчаянье



— СБОРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ —

— СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК —

— παραλιπομένων —

Николай Щеголев





*Николай
Щеголев*

Победное отчаянье

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

*Водолей
Москва
2014*

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
И. Е. Будницкий (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
Т. М. Горяева (Россия),
А. Гришин (США),
О. А. Лекманов (Россия),
В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
А. Л. Соболев (Россия),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
А. Б. Устинов (США),
Л. С. Флейшман (США)

СТИХОТВОРЕНИЯ

Издание подготовлено при поддержке гранта РГНФ 12-21-21001 а (м)

«Русские и китайцы: межэтнические отношения
на Дальнем Востоке в контексте политических процессов»

Составление *А.А. Забияко* и *В.А. Резвого*
Подготовка текста и примечания *В.А. Резвого*
Послесловие *А.А. Забияко*

ISBN 978–5–91763–193–6

- © А.А. Забияко, составление, послесловие, 2014
- © В.А. Резвый, составление, примечания, 2014
- © М. и Л. Орлушины, оформление, 2014
- © Издательство «Водолей», оформление, 2014

ХАРБИН

1930–1935

ЖАЖДА СВОБОДЫ

Глаза глядят туда –
В далекие долины.
Слова готовы с уст
Сорваться навсегда.

Я пуст, как эта даль
За дымкой паутины,
И черен я, как туч
Текучая гряда.

Надвинулась весна.
Избитые мотивы
Подстерегают нас,
Как придорожный волк.

Зачем я – человек?
Души моей извивы
Пронизаны навек
Суровым словом: долг.

А даль – пестрей, пестрей, –
Пересыпает краски.
Озимая трава
На солнечном костре.

И хочется стереть
С лица печать опаски
И разом оборвать
Обязанностей сеть!

<1930>

СТАНСЫ

Радость... –
Я к ней не причастен.
Солнце... –
Я с ним не знаком.
Что для меня ваше счастье?
Что для меня ваш закон?

Вечно во власти решений,
Противоречий и ссор, –
Думаю стать совершенней,
Нежели был до сих пор.

То богатырь, то калека,
То филантроп, то Марат, –

Редко зову человека
Ласковым именем: брат.

Есть у меня «Меморандум», –
Книжка для памяти, – там
Я изнываю по Андам,
По поднебесным местам.

Дни надоели. Начать ли,
Кончить... не всё ли равно?
И, – повертев выключатель,
Падаешь спать, как бревно.

Всё обиходно. Косые
Спят на обоях лучи...
Разве лишь слово «Россия»
Мне необычно звучит.

<1930>

В КИНЕМАТОГРАФЕ

Торчит экран, – живая книга.
Оркестру велено греметь.
Сижусь... Всё спутано. Интрига
Плетет живую сеть.

Удар судьбы героя ранит.
Царят коварство и обман.

Вокруг меня и на экране –
Мистический туман.

И вдруг войдет, блестя глазами
Прозрачайшими, – Конрад Вейдт,
Встряхнет льняными волосами
Под переливы флейт.

И знаю, – не пройдет минуты, –
Артист забьется в пустоте,
Как беспорядочная груда
Из нервов и костей.

И, вновь опомнившись, заплачет,
И вновь кого-то позовет...
Над головой его прозрачен
Экранный небосвод.

Колонны слов, круги, зигзаги
Безумно мечущихся лент...
На развивающемся флаге
Горят слова: «The end».

<1930>

ЗА ВРЕМЕНЕМ!

Устал с утра давиться
Идущей в такт со временем
Слепой передовицей
Газеты. Жизнь, – согрей меня!

Не прихоть! – Еле-еле
Теперь справляюсь с ленью я
К концу моей недели...
Мутит (перечисление):

От улиц, от традиций
Кивков, от «дам с собачками»,
Спешащих возвратиться
На мой закат запачканный...

Бывают люди сталью,
А жизнь – магнитом ласковым
Для них. Глядишь, пристали
Проворными булавками.

Бывают люди медью,
Как я. И нет проворства в них!
И – медлят, медлят, медлят,
Чтобы потом наверстывать.

Но в этот ад – в погоню
Вольют, как бы нечаянно,

Последнюю агонию,
Победное отчаянье!

<1930>

ПАМЯТЬ ВИДИТ

Память видит зеленый альбом...
В нем когда-то, как яркий новатор,
Расчеркнулся я словом «любовь», –
Запятая, тире, «скучновато!»

И под этот больной экивок
(Жизнь тогда мне ничем не сияла,
Я тогда не ценил никого)
Подмахнул я инициалы, –

Н.А.Щ. – Миллионы минут
От обиды альбомовладельца
Провертелись. И вновь я в плену
Насылающих скуку метелиц.

И – за ветром, пример взяв с него,
В каждом жесте лелея решимость,
Я бегу по настилам снегов,
Как на лыжах, шагами большими.

Точно тянут меня на ремне,
Точно манят обилием денег...

Но во мне – никаких перемен,
Никаких – перерождений.

<1930>

ПРАВДИВОСТЬ

Родимая, начало всех начал!
Когда слепила солнце саранча,
Когда она врывалась с треском в двери,
Когда от подозрительности я,
Теряясь в недомеках бытия,
Уж никому не ждал души доверить;

Когда разуверялся и когда,
Не спрашивая у людей, гадал
О том, что им и ясно, и прозрачно, –
Тогда и сердце, даже пред тобой,
Притворствовало, празднуя отбой
Привязанности нашей полумрачной.

Напрасно оправдания вовне
Моей высокомерной болтовне
Отыскивала ты, еще не зная,
Что я, как все, во власти пустяков
И что по складу духа я таков,
Приснившийся тебе пришельцем рая.

Родимая, начало всех начал,
Прислушайся! Я коротко сказал:
Нет слов косноязычней и короче,
Чтоб выразить ту ясность на душе,
Подобную не блику на клише,
Но вольтовой дуге на фоне ночи.

Как звуки тамбурина и зурны
Для музыканта вдруг озарены,
Зажглись мои последние недели...
И, вероятно, в мире нет тоски
Сильней, чем счастье показать таким
Себя, каков ты есть, на самом деле.

*Май 1930
Харбин*

ТАМ...

Влача за собою пояс,
Глотая с тоской дистанции,
Бежит пассажирский поезд,
Вопит у ближайшей станции.

Там запад, – залит кострами,
Как кровью, – почти логически
Беседует с пустырями,
Настроенными элегически.

Там вяз, растопылив руки,
Взяв позу актера-трагика,
Вихрясь в налетевшей муке, –
Мне душу порой затрагивал.

Там дали, рябя рисунками
Ландшафтов, одетых в олово,
Страдали. И стыла Сунгари,
Как плоскость ножа столового.

Июль 1930

ДИССОНАНС

Спрятанный в кlobук Савонарола
Близок мне с девизом: пост и труд...
А в соседней комнате – виктрола
И уют.

Чувствую, что с каждым часом чванней
Становлюсь, заверченный в тиски
Горестного самобичеванья
И тоски.

Но в припадке жесточайшем долга
В свой афористический блокнот
Что-то заношу, смотря подолгу
На окно.

К желтым костякам фортепиано
Прикасаюсь скованным туше,
Думаю бессвязно и беспланно
О душе.

Пусть соседи под виктролу скачут
Вечером, лишь вынет диск луна, –
Всё равно: ударю наудачу
Диссонанс.

Если же случайно выйдет нежный,
Тихий, грустью задрожавший звук –
Приглушу его своей мятежной
Парой рук.

1930
Харбин

ПОРОВНУ

На десяток плохих есть десяток хороших.
На десяток больных – десять «кровь с молоком».
На десяток разутых – десяток в галошах.
На толпу в лакированных – толпа босиком.

Дисгармония, кризис – газетный, словесный...
Удручающий ряд! Кто поймет? Кто поймет,
Что и в наше столетие веселые песни
Половина людей, точно нáзло, поет?

Кто поймет? Кто поймет, отчего, насмотревшись
На бессилье людское, иду я домой
Не с тоскою, как надо бы, не присмиривший,
А натянутый, точно струна, и прямой?

А когда мне прошепчут: «депрессия!.. кризис!...»
И понятий тождественных траурный ряд, –
Я сощурюсь слегка, к говорящим приблизясь,
И ехидно скажу: говорят, говорят!

Пусть вселенная спит под метелью, в пороше,
Пусть мучительный мир в бесконечность влеком, –
На десяток плохих есть десяток хороших,
На десяток разутых – десяток в галошах,
На десяток больных – десять «кровь с молоком»!

1930

* * *

Я близок к устью
Больших дорог...
Я с той же грустью,
Я столь же строг,
Я так же занят
Одним, одним –
Ловлю глазами
Белесый дым...

Туман и сырость
Три дня подряд...
Таким я вырос,
И – что ж! – я рад
Нести всё время,
Всю жизнь мою
Себя, как бремя,
В разлад со всеми
И даже с теми,
Кого люблю.

И – через много
Шумящих лет
Я столь же строго
Взгляну на свет, –
Да, он мне ближе!
Но – что скрывать? –
Ведь я увижу,
Что я опять
Всё так же занят
Одним – одним... –
Милльон терзаний...
Белесый дым...

1930

ГОНГ

Стараюсь жить попроще, без утонков, –
Сплошная трезвость, здравый смысл во всем...
Вдруг – странный, тяжкий звук, как будто гонга
Удар!.. И всё меняется кругом.

Знакомый звук, как мир, больной и старый,
Пронзительный, надрывный и лихой...
Чайковский ждал такого же удара,
Бетховен, будучи уже глухой.

Толстой, насупленный, косматобровый,
В биеньи жизни звук тот различал,
И вздрагивал, и вслушивался снова,
И вышла «Смерть Ивана Ильича»...

У Чехова – «Вишневый сад»... У Блока
Расцвел над бездной «Соловьиный сад»...
Везде – куда ни глянь! – над одинокой
Душой мечи дамокловы висят...

И я, пигмей, живу и не горюю...
Вдруг грянет гонг, и станет жизнь тесна,
И хочется проклясть ее, пустую,
Проклясть ее и прыгнуть из окна.

До вечера влачится тупо время,
Живешь в каком-то гулком колесе,

Ругаешься и плачешься со всеми, –
Другой и все-таки такой, как все.

Как все, как все!.. Нет певческого дара.
Я – пустоцвет... Ну что ж! напьюсь тайком
И буду до надсады «Две гитары» –
Мотив давнишний, затхлый, стертый, старый,
Мне в уши занесенный ветерком,
Себе под нос мурлыкать тенорком...

1930

РОВНО В ВОСЕМЬ

Ровно в восемь меня ты встречала.
Я бежал и не мог продохнуть,
Наступая на цепи причалов,
Изъязвивших песчаную грудь.

Впрочем, «грудь» – устарело, избито
Для земли, для воды, для песка...
Я на прежних поэтов в обиде,
Что посмели они истаскать

Всё дотла, и всё выпить до краю,
И беспечно мотать до меня
То, что ныне во мне закипает,
Улыбаясь, дразня и маня.

Но и хуже мы муки выносим, –
В зное лета и в вое зимы
Мне осталось одно: ровно в восемь, –
Точка в точку, – встречаемся мы.

А в дурную погоду заочно
Для тебя составляю я речь,
Где любовно приветствую точность
И рассчитанность времени встреч.

<1931>

ПОКУШАВШЕМУСЯ

Неделя протекала хлопотно.
К субботе ты совсем раздряб.
Пришел к реке, нырнул и – хлоп о дно! –
Оставив пузыри и рябь.

Но на мостках матрос внимательный
Не потерял момента, и, –
Стругая гладь, спешит спасательный
Мотор, надежду затаив.

Прыжок. И вынут утопающий –
Свободе личности назло.
Ах, вымокшая шантрапа! Еще
Печалится: не повезло.

Беда! становишься ехидою,
Беседуя с тобой. Ты – тот,
Кто жизнь считает панихидою,
Тогда как жизнь – переворот.

Тогда как жизнь – великий заговор
Громов и ловля на лету
Клинков, взлетающих зигзагово
В нетронутую темноту.

<1931>

ЗА ГОРОДОМ

Лихие цирковые Арабеллы,
Театры, мостовые мне нужны...
Полмесяца живу как оробелый, –
Не сладить с новизною тишины.

Открыты окна. Легкие удары
Калиткою. А в воздухе сквозят
Шесты шаланд, сверканье самоваров
И бочек, за которые – нельзя...

И надо мной поблескивают щели
На потолке; и небо надо мной;
И – если дождь, то летние капли
Обрызгивают музыкой земной.

Лиризм растет... Но перееду в город,
Обогадив словарь своих стихов, –
И снова стану петь, что я расколот
И устаю от всяких пустяков.

Как девочка, душа наденет капор...
Но будет верить в свежесть ветерка
И будет ждать, чтоб чудом дождь закапал
С непроницаемого потолка.

<1931>

СЕРЕБРЯНЫЕ ДНИ

Летом – мрачная закабаленность
И девиз: «от всего отрешись!»
А зимой, как ни странно, – влюбленность
И в тебя, и в работу, и в жизнь.

Дни серебряные, словно просесть.
Век писал бы, но твой бубикопф,
В сочетаньи с улыбкою, просит
Прекратить сочиненье стихов.

Над душой моей сложной и хрупкой
Ты смеешься чуть-чуть, – почему
И зову я тебя «острозубкой»
И не сразу, не сразу пойму.

Но у родственников – вечеринка,
Где – веселье: ты в самый разгар
Нарисуешь «поэта на ринге», –
Так, для смеха вертящихся пар.

И, следя за пунктиром рисунка,
Очаруюсь тобою я сам.
Я – мальчишка, держащийся в струнку,
Как бы наперекор небесам.

А когда под влияньем момента
Все хохочут, виктролу скрутив,
Ты велишь мне идти к инструменту
И сыграть наимодный мотив.

И в биении нерусского вальса,
Сонни-бой и танго «Аргентин»
Ты вселяешься вся в мои пальцы
Над просторами клавишных льдин!

<1931>

ОТУПЕНИЕ

Слов уж не было...
Я
Поникал,
Как под градом доносов,

И в пространство
Ронял, –
Клеветнической тучей гоним, –
Так тягуче слова,
Что казалось, –
Н а в у х о д о н о с о р
Слишком краткое слово
В сравнении
С каждым
Моим.

<1931>

ОТ САМОГО СТРАШНОГО

Я стою у забора. Сквозь воздух вечерний
Долетает из дальнего сада симфония,
Вероятно, продукт математики Черни,
Виртуозности Листа, – Сальери агония.

И какие созвучия! Чем обогреешь
Их полет? Прикасаясь к ушам, холодят они
До мурашек, до дрожи. И тянет скорее
В освещенную комнату. Там благодатнее.

Там и легче. А утром, когда, обозленный,
Выбегаешь и щуришься, сутки прободрствовав, –

Воспаленные веки на вязах зеленых
Отдыхают от самого страшного, черствого.

<1931>

ДРУЗЬЯМ

Для них, нелепо запоздавших,
Создавших смуту вокруг меня,
Я нахожу слова постарше,
Чем те, которыми звенят,

Чем те, которыми пророчат,
Чем те, которыми клеймят,
Чем даже те, что счастье прочат
И затуманивают взгляд.

Друзья, вонзившиеся в сутки,
Как нить закатного луча, –
Они живут в моем рассудке
Разоблачителями чар.

И, растворяясь в их советах
Так, как в стакане – сулема,
От бьющихся в окошке веток,
От ветра – я схожу с ума!

Чтоб стать впоследствии к ним ближе,
Чем в эти снеговые дни,

Я обнимаю груди книжек,
Которые прочли они; –

Чтоб им, которые мутили
Во мне спокойствия струю,
Излить в незыблемом мотиве
Колеблемую жизнь мою!

<1931>

* * *

Устаю ненавидеть.
Тихо хожу по проспектам.
«Некто в сером» меня
В чьи-то тяжкие веки влюбил.
Устаю говорить.
Пресловутый и призренный «некто» –
Надо мной и во мне,
И рога – наподобие вил.

Впрочем, это гротеск.
«Некто» выглядит благообразней, –
Только рот как-то странно растянут
При сжатых губах:
Таковы и лица людей в торжественный праздник,
Если отдыха нет, –

Борьба,
Борьба,
Борьба!

Я себе говорю:
Мы сумеем еще побороться,
А пока
Стану петь,
Стану сетовать,
Стихослагать!
И пишу,
И пою,
И горюю, –
Откуда берется
Лихорадочность музыки,
Бьющейся в берега?

Непонятно!
Ведь я потерял беспорядочность мнений.
Я увесист, как полностью собранный
Рокамболь.
Я лиризм превозмог.
Но достаточно книжных сравнений,
Как прочитанное
Обернется в знакомую боль.

Через двадцать пять лет
Ты увидишь, что мир одинаков,

Как всегда,
И что «некуда больше (как в песне) спешить».
И, вздохнув, захлебнешься
В обилии букв и знаков,
Нот, и шахматных цифр,
И запутанных шифров души.

1931

* * *

Вечер. Горизонт совсем стушеван.
Печь, диван, присутствие кота.
Ручкой тонкою и камышовой
Я пишу на длинных лоскутах.

Ветерок колеблет занавеску,
Занавеска к абажуру льнет.
Точно Гоголь, я в турецкой феске, –
Остролиц и холоден, как лед.

Музыка несется ниоткуда
В форточку и в уши – напролом.
Обожаю внешние причуды
И, в особенности, за столом.

Я пишу. В окне горит веранда.
Перетрахиваю ритмы дня.

За стеною спорят квартиранты
Не о том, что трогает меня.

Вот сегодня я листал Толстого,
Кажется, четырнадцатый том –
Педагогика его основа, –
И всё время думал: *не о том*!

Думал до надсады долго, много,
Щуря уголки зеленых глаз,
Только к вечеру моя тревога
Тяжко в эти строки улеглась.

Но отчаянье, как Лорелея,
Всё поет, и падаю в прибой, –
Я, казненный, как поэт Рылеев,
Только не другими, а собой!

1931

* * *

Нас всё время наказывал Бог.
Мы умели хотеть, мы боролись,
Мы не ждали, чтоб кто-то помог,
Шли мы к северу, прямо на полюс, –

А потомок прочтет свысока,
Как мы шли сквозь поля ледяные –

То без Бога, то без языка,
То без солнца – в огромной России!

1931

СОН

Мы с другом идем перелесицей,
Неясных предчувствий полны...
Над нами колеблются месяцы,
Но нет ни единой луны.

Растут только вязы да тополи,
Наверно, по тысяче лет...
Вон – дети оравой протопали:
Всё мальчики, – девочек нет.

Учительниц нет, – есть наставники,
Нет рек, – есть глухие пруды,
Слоняются фавны да фавники
У горькой зеленой воды.

И в этом проклятом становище,
В заброшенном замке, в пыли
Сидит и владычит чудовище,
К которому нас привели.

Квадратное, злое, безмолвное, –
Оно ощерилось на нас,

И брызжут зеленые молнии
Из маслом подернутых глаз.

И замок, зубцами увенчанный,
Тосклив, неуютен и мшист, –
Не тронутый веяньем женщины,
Без слез, без тепла, без души.

1931

БОГИ

Предвечерние рвы на дороге.
Разговор воронья в вышине...
Отовсюду, мне кажется, боги
Подступают, враждебные мне.

Вот сутулый ивняк-длиннолистник
Невидимка-рука потрясла...
Ах, опять ветерок-ненавистник
В душу робкую вносит разлад.

Занимается ль день над рекою,
Он от туч и от ветра рябой...
Мы простились: ты машешь рукою, –
Нет, не ты – бог разлуки с тобой...

Не исчислить вас, темные боги,
Боги будней и тяжких дорог!..

А бессонницы бог и тревоги?
А нужды? А изгнания бог?

А домашняя грусть у окошка,
Грусть твоя – что еще тяжелей?..
И ползущая сороконожка,
И сквозной ветерок из дверей...

Но в вихрастые дни вдохновенья,
Когда всё мне пустяк и тщета,
Я сплетаю богов, точно звенья,
И мечтаю, сплетя, сосчитать...

Вот сегодня как будто бы дожил
И готов их собрать на копье.
Но вгрызается грусть многобожья
В терпеливое сердце мое!..

1931

ВИТРИННАЯ КУКЛА

Мне грезится фигурка неживая,
Слегка отставившая локоть круглый, –
Задрапированная восковая
Модель витринная, больная кукла.

Случайно вы попали в поле зренья...
Я шурился, разглядывая пачки

Шелков, носков с божественным презрением, –
Душа была в потусторонней спячке.

Фигурка, вы – последняя влюбленность.
Пусть нездорово, но, по крайней мере,
Не тронет вас моя испепеленность.
А звать вас буду Ирмой или Мэри.

И жизнь пойдет прекрасно и правдиво
В прекрасном шелковом раю витрины,
Где вы теперь стоите горделиво, –
Осуществление мечты старинной.

<1932>

ЗИМА БЛИЗКА

Всё прозрачней воздух,
Всё острее слеза,
Всё синее звезды,
Всё слепей глаза.

И дымятся трубы,
И бурлит река, –
Холоднее губы,
Холодней тоска...

И зима близка!

<1932>

* * *

Всем мои стихи доступны, – всем ли?
Да, конечно! Точно снег они,
Падающий хлопьями на землю
В пасмурные мартовские дни.

Всякий вправе подставлять лицо им,
Обелиться с головы до пят
Их мохнатым карусельным роем,
Но – беда! – не все того хотят.

По частицам расточаю дар свой,
Жду, терплю, – на худшее готов.
Но никто мне не прошепчет: «царствуй!»
И руки мне не подаст никто.

Это выглядит мрачней могилы,
Это гибнет человек живьем...
Но какая дьявольская сила
В нынешнем отчаянье моем!

<1932>

ОПЫТ

Одиночество, – да! – одиночество злее марксизма.
Накопляешь безвыходность: родины нет, нет любви.
Содрогаешься часто, на рифмы кладешь пароксизмы,
Бродишь взором молящим среди облаковых лавин.

– «Не от мира сего...» И горят синема, рестораны,
Ходят женщины, будят сознание, что ты одинок
На земле, где слывешь чудачком захудалым и странным,
Эмигрантом до мозга костей, с головы и до ног.

Эмиграция, – да! – прозябанье в кругу иностранцев,
Это та же тоска, это значит – учить про запас
Все ремёсла, языки, машинопись, музыку, танцы,
Получая гроши, получая презрение подчас.

Но ты гордый, ты русский, ты проклял сомненья и ропот, –
Что с того, что сознание трезвое спит иногда? –
Но себя ты хранишь, но встречаешь мучительный опыт
Не всегда просветленно, но с мужественностью всегда!

19.VII.1932

ЛЕРМОНТОВ

В этом мире, мире ненастья,
Мире мертвых нудных людей,
Жгут меня холодные страсти, –
Я дрожу от этих страстей.

Дни идут, оскалась как волки, –
Дни разврата и дни труда,
И холодным и лунным шелком
Отливает ночью вода...

В этом мире мне счастья нету,
Всё – лишь сказка, перечень снов
Одинокой черной планеты
У преддверья многих миров.

И от этой холодной сказки,
От ненужных женских ласк
В неудобной тряске коляске
Отправляюсь я на Кавказ,

И гуляю там, нелюдимый,
Поджидая скорую смерть...
Пятигорск... Золотые дымы...
Взгляд последний, кинутый в твердь.

1932

* * *

Люби меня всей чистотой,
Которой я стыжусь,
Люби меня любовью той,
Которой я боюсь.

Люби меня, люби меня,
Все силы собери –
Во мраке ночи, в свете дня
И розовой зари.

Настанет миг, ты подойдешь,
Мучительно любя...
О, ты тогда меня найдешь,
А я найду себя.

Я новым ликом обернусь
И, став самым собой,
Свободно солнцу улыбнусь,
Что встанет надо мной.

Так, вгрызшись в землю глубоко,
Из материнских недр
Сосет ребенок молоко,
Растет высокий кедр.

А обессиленная мать –
Иссохшая земля

Печально будет умирать,
Ребенка утоля...

И ты, оставленная мной
Навеки, навсегда,
Утратишь свет последний свой
И канешь, как звезда,

Во мрак, что безответно нем,
В ночь, чуждую тепла, –
И лишь тогда пойму я, чем
Ты для меня была.

1932

МУТЬ

Дни весенние. Синий
И безоблачный свод...
Скоро ветер с пустыни
Желтизну нанесет.
Солнце сядет... И некий
Современник, мой друг,
Вскинет тяжкие веки,
Затуманится вдруг,
И пропьянствует ночью
У распутства в гостях,
И под утро воочью
Узрит дьявольский стяг...

Но волною тяжелой
Захлестнет горизонт,
Зазвучит невеселый
Колокольный трезвон,
Всхлипнет нынешний Гамлет,
Рухнет времени связь...
Вот он мечется, мямлит,
Поминутно крестясь.
И так сладко, так свято
Покаянье в конце
Со следами разврата
На упрямом лице.

1932

* * *

Мне скучно... Будильник
Стучит монотонно.
Покой мой бессильный,
Покой мой бессонный!
Но вдруг, будто пенье
В костеле органа,
Нахлынет волнение,
И плакать я стану,
Что мысли приходят
И мрут без свободы,
Что *годы проходят*, –
Все лучшие годы.

Что ласточки выются,
Крылами звеня,
Что люди смеются
И травят меня
То ночью бездомной,
То дома и днем, –
А Лермонтов темный
Поет о *своем*!

1932–1933

* * *

От замыслов моих, не подкрепленных
Ни силою, ни верой, ни трудом,
От слов моих всегда полувлюбленных,
Полупрохладных, как забытый дом,
От вечно спутанных и сыроватых
Туч, копошащихся над головой,
И даже от просветов синеватых...
От всей земли, скользящей по кривой,
Бежать, бежать, бежать... – в какое царство?

О ложь!.. О бесполезное бунтарство!

<1933>

* * *

Слова, сорваться с уст готовые
Недели, месяцы, года;
Ошибки старые и новые,
Непоправимые всегда.
И лес из дымных труб над городом,
И круг луны над головой,
И я – с несвойственным мне холодом –
Какой-то странный, сам не свой,
Изогнутыми переулками,
Шагами тяжкими и гулками,
Вступаю в городскую ночь
Асфальты черные толочь.

<1933>

СИРЕНА

Сидит – поджатые колена,
Большие лунные глаза, –
Оцепенелая сирена,
Как затаенная гроза...

Как много, как ужасно много
Людей – в былом, теперь – калек
Толчется у ее порога!
Один красивый человек

Теперь в нее влюблен. Печально
Он с ней до сумерек сидит.
Она не гонит, но глядит
С холодностью необычайной...

А по ночам – она – сирена –
Она – сирена – по ночам
Крадется в парк: дрожат колена,
И косы быются по плечам,
Как перегрызенные цепи...
Стоят беседки. Месяц строг.
И – ждущий *фавн* табачный пепел
С козлиных стряхивает ног.

<1933>

ОСЕННЯЯ УЛЫБКА

Ноябрьский, прозрачный, кидаемый ветром в стекло,
На серые зданья слетает снежок неумный.
Последние листья с деревьев еще не смело,
Над серой землею склоняется купол огромный.

Немного белей, но не ярче... лишь тусклых тонов
Мельканье, да красок – лишь выцветших – чередованье,
Скелеты деревьев качаются, ветер готов
Снести мою крышу, – я слышу его завыванье.

Там настланы мертвые листья в пустынном саду, –
Порывами ветра на землю безжалостно сбиты...
Мы плохо расстались. Теперь я к тебе не приду,
И ты задохнешься от гордости и от обиды.

А завтра, при встрече, случайной, как свет или тьма,
Как солнце, как звезды, как месяц, как всё во вселенной, –
Лучи желтоватого солнца сойдут на дома,
Ты мне улыбнешься улыбкою слабой и брэнной.

Но в этой улыбке, как в странной заморской стране,
Какие-то птицы поют и цветы зацветают,
И солнце не меркнет, и часто мерещится мне,
Что в ней всё, что было, что есть и что будет, – растает.

<1933>

* * *

Розовело небо, задыхался колокол,
Искры разлетались.
Мокрый падал снег и стлался, стлался пологом,
И глаза слипались.

Старичок скользил, покашливал и шурился,
Переносье сморщив.
Яркие рекламы плавали над улицей,
До костей промерзшей.

Улыбались люди и друг друга под руку
Брали, кляли стужу.
Мчался сбор пожарных. Старичок шел бодренько,
Хоть и был простужен.

Но не грипп свалил его – цистерной медною
В перекрестке сбили.
И опять помчались с ветром люди бледные
В рев автомобилей.

И опять на сердце знак багровый чертится,
И опять я занят
Мыслями о смерти, о своем бессмертьице
И – самотерзаньем.

<1933>

* * *

Ты помогала мне в успехе
На утомительной земле,
Ты создала мои доспехи,
Ты сделала меня смелей,
Неуязвимей и злорадней...
И всё, что мне тобой дано,
Я взял, но твой покой украден,
Я не люблю тебя давно.

В твоих ресницах звезды виснут,
Ты часто плачешь и не спишь...
А я, в квадрат кирпичный втиснут, —
Я снова впитываю тишь!

1933

* * *

На сердце пусто и мертво:
Напрасно притворяюсь кротким...

Властительнейший профиль твой,
Веселую твою походку,
Твоих движений злую власть,
Уверенность твою в победах
Как часто я готов проклясть!..

А под конец, а напоследок,
Поднявши воротник пальто,
Поглядывая одичало,
Проклясть проспект с его авто,
Уйти в пустынные кварталы.

1933

* * *

Я грею ледяную руку
У сердца, бьющегося громко, —
Я тщательно скрываю муку...

Но вот подходит незнакомка
И спрашивает, вздернув плечи:
«Зачем вы злой и непонятный?»
И что я, что я ей отвечу, —
В себя ушедший безвозвратно?

1933

РУССКИЙ ХУДОЖНИК

Кидающий небрежно красок сгустки
На полотно, прикрепленное в мольберт,
Художник я и, несомненно, русский,
Но не лишенный иностранных черт.

Люблю рассвет холодный и линиялый —
Нежнейших красок ласковый разлад.
Мечта о власти и меня пленяла,
Меня пленяла и меня трясла.

На всякий звук теперь кричу я: — занят.
Но этим жизнь исчерпана не вся.

Вокруг враги галдят и партизанят,
Царапины нередко нанося.

Мне кажется, что я на возвышеньи.
Вот почему и самый дух мне люб
Французской плавности телодвижений,
Англо-немецкой тонкой складки губ.

Но иногда я погружен по плечи
В тоску и внутреннюю водоверть.
И эту суть во мне не онемечит,
Не офранцузит никакая смерть.

1933

ОТКАЗ

Попытки зачернить твою
Прозрачную живую душу
Я проклиная, я стою –
Весь окровавленный, потухший,

Оставленный на самом дне
Пустого черного колодца.
Расколотое сердце мне
Пощады не дает, всё бьется.

Вчера в последний раз во тьму
Ты сверху протянула руку,

Я стиснул зубы: не приму.
Я вновь обрек себя на муку –

О камни биться, говорить
Кошунства, задохнуться дымом
И смрадом дна, и снова жить
Нелюбящим и нелюбимым.

1933

НА БАЛУ

Вот девичье тело
(Мне душу любить дано), –
И всё взлетело,
Всё временно сметено,

Ты ждешь, не глядя, –
Как жжется твоя ладонь!..
В моем же взгляде –
Жестокий желтый огонь.

Мы едем вместе
Холодной ночью на бал.
Тебе, как невесте,
Я с твердостью руку дал

В подъезде... Недаром
Тяжелый мой жаден взгляд.

Два толстых швейцара
У вешалок, стоя, спят.

И странное чувство
Мне душу объемлет вновь, –
Мне жаль, мне грустно,
Что и это моя любовь,

Что это не только
Небесный ангельский свет,
Но – пусть мне больно! –
Иного выхода нет.

О, милое тело,
Простит ли твоя душа
Мне темное дело!?
Прерывно, злобно дыша,

Над нею в танце
Ползучем склоняюсь я:
– Моя, моя, несмотря ни на что, – моя!

1933

МАСКАРАД

Однажды средь ночи привиделся мне маскарад.
Он с жизнью моею был плотно, как карты, стасован...

Какая-то комната. Люди все враз говорят.
А в комнате тесно. А двери в латунных засовах.

В очках а ля Ибсен возник предо мною старик.
Надулись – вот лопнут от смеха – патлатые щеки...
И все засмеялись. И смех этот вылился в крик.
Гремели ладони и дробно трещали трещотки.

В железном оконце всплывала большая луна –
Бессмысленный лик, рябоватый, больной, бледно-желтый.
И все неестественно пели: «как весело нам»,
А я им кричал обличительно: – лжете вы, лжете!

Тут всё завертелось... И кто-то ударил меня
Большой колбасой из узорной и вздутой резины.
И кто-то грозил мне. И кто-то меня догонял, –
Запомнились злобные глазки и лоб шимпанзиный...

Всё было как в жизни... Не верилось, право, что сплю...
Всем вдруг захотелось казаться умней и красивей...
Один бормотал: «я с пеленок искусство люблю...»
Другой тараторил: «структура грядущей России...»

И мне показалось – я сам лицемерю и лгу,
Когда я прижался к стене и с лицом неподкупным
Сказал: «о, какое проклятье быть в вашем кругу...
– Россия ж как боль мне близка, но как даль недоступна!»

1933

ХОТЕЛОСЬ БЫ

Хотелось бы вырвать из памяти
Страницу нелепейших встреч
С тобой в январе, когда замети
Захлебывавшаяся речь
Мешала нам мирно беседовать...
И мы до озноба вдвоем
Стояли у дома соседова –
Не в силах унять водоем
Сомнений, намерений, вымыслов,
Не складывавшихся в слова...
Всё это прошло, и не вынесла
Теперь бы моя голова
И той несуразицы выводов,
К которым, бывало, тебя,
Твою точку зрения выведав,
Я вел, неустанно дробя
Ее на частицы – анализом! –
И классифицировал их,
Как рыб... За логичностью гнались мы,
За нами же следовал вихрь
Зигзагообразною линией
И нас и соседей фасад
Опутывал в сумерки синие,
Чтоб мы не вернулись назад
К красе человеческой личности,
Которую просто трясет

От этого гнета логичности,
От этих холодных красот.

1933

ПОЧЕМУ?

Солнышко искоса светит...
А я всё шагаю в дожди,
В сумрак, в осенний ветер...
Что
у меня
впереди?

И кто я сам? Неужели
Вестник и спутник мглы,
Любящий свои подземелья,
Закоулки, глухие углы?

И почему так упорно
Рвусь я всегда во тьму
С солнечной тропы – торной?..
Спрашивается – почему?

Потому что лабиринты и глубины
И то, что на самом дне, –
Любит, любит, любит
Жизнь, что с солнцем в родне!

Другим она – незнакомка,
А меня непременно вдогонку
Подбодрит – не очень громко,
Но звонко, звонко!
– «Постой, подожди!
Пройдут дожди...
Всё

еще
впереди!»

Солнце! Я, может быть, болен,
И ты – мой давнишний враг?..
Спрашивается: чем я доволен,
Падая, как в омут, во мрак?..

Может быть, я – проклятый
Трус или малOVER?
Может быть, я – глашатай
Смерти? Ее курьер?..

Неправда! Родное, земное,
Глубинное я люблю...
Следуй же, солнце, за мною
В мутную мглу мою,

В лабиринты и глубины,
Где не бывает дня!..
И чувствую: жизнь любит,
Безмерно любит меня, –
А она ведь солнцу родня!..

Другим она – незнакомка,
А мне обычно вдогонку
Летит ее голос (негромко,
Но звонко, звонко):
– «Постой, подожди...
Пройдут дожди...
Всё

еще
впереди!»

1933

ПРЕКРАСНЫЙ МИР

Я вхожу в прекрасный мир, мир комнаты твоей.
Он осветляет мир сомнений и страстей,
В котором я порой стучусь в ворота ада,
Коснувшись крича: «мне ничего не надо!»
Все нужные слова цветут в твоей груди,
Ты мне не говоришь: «побудь, не уходи!» –
Но держишь у себя необъяснимой силой
Безветных слов любви, без восклицания: «милый!»
И этой тишины, и радостей простых –
Не передашь и ты, александрийский стих!

<1934>

ОТРОЧЕСТВО

Дни, сотканные из тумана,
Вновь начинают возникать...
Недавно больно, нынче странно
Мне отрочество вспоминать.
Прекрасная пора... Готовность
Растаять в солнечных лучах,
Застенчивость во всем, неровность,
Непостоянство в мелочах,
Нетронутая свежесть, детскость
Высказываний в дневнике,
Кокетство девочки соседской,
Колечко на ее руке,
Ее очки – «очкастый ангел!» –
Размолвка, мой приход домой,
Гимнастика, поднятые штанги
Над беспокойной головой...
А нынче – призрак олимпийства,
Приобретенного в тиши...
Незримое самоубийство
Незрелой маленькой души!

<1934>

* * *

Я сегодня от скуки далек,
Как далек от безумья и страсти,
Потому что мне брезжит намек
На какое-то близкое счастье.

Как на елочной ветке звезда,
Жизнь сегодня сияет, трепещет,
Будто ты мне ответила: «да»! –
И по-новому зажили вещи,

И как будто я ровно дышу,
Улыбаюсь светло, непритворно,
Всё люблю и в дневник заношу
Золотые страницы среди черных.

<1934>

В РАЗДУМЬИ

Что я? – Калика перехожий, –
Смирился внешне и притих...
Жизнь смотрит искривленной рожей
На гордость замыслов моих,
И с горечью я понимаю,
Что я не всё осуществляю, –
Но так безумно я мечтаю,
С такою верностью люблю,

Что даже и в часы лихие,
В болезни, в гнете и тоске,
Всё мнится мне, что я в России,
А не в маньчжурском городке...
И в самом деле, в самом деле, —
Иль не со мной моя тоска,
И покаянные недели,
И трепет сердца у виска, —
Вся русская моя природа,
Полузадушенная мной?..
И как я рад, когда порой
Веду себя как иноземец, —
Холодный бритт, упрямый немец, —
Как горд!..

Кровь моего народа
Во мне сияет новизной!

<1934>

СТИХИ О РАЗЛУКЕ

1

Милая, такая понятная
И таинственная вместе с тем, —
Ужасно! — но самое вероятное,
Что мы разойдемся совсем...
Вспыхнем, друг на друга обидимся,
И друг друга никогда не простим,

И больше никогда не увидимся,
И в сонную ночь отлетим,
И глазами мертвыми, мутными
Станем на мир смотреть
И плестись ногами беспутными...
Хоть бы скорей умереть!

2

Надо мною летают вороны,
Голубеет стареющий день,
И несутся с вокзальных перронов
Вопли поезда, всхлипы людей;
Расстаются — по-волчьи сурово,
В отдалении друг друга любить...
О, проклятье! Всё это не ново, —
Я об этом устал говорить.

3

Ночь с пеньем птиц, с собачьим лаем,
Вокзал, пронзительность свистка,
Разлуку, — всё мы принимаем, —
Два разлетевшихся листка,
Как будто вечно наготове
По разным разойтись углам...
Иль клейковины нашей крови
Так глупо не хватает нам?
Неправда: на себя клеветцем, —
Прочно связующая нить!

Но это жизнь, смеясь зловеще,
Всё хочет нас разъединить.

<1934>

ЖИЗНЬ

Жизнь... Сиянье бальной залы,
Стуки каблуками,
Беловатые провалы
Между облаками,
Холодеющее сердце
Под крахмальной тканью,
Золотеющего солнца
Поступь великанья,
Взор развратника насытый,
Гири, дымы ночи...

Небо – дождевое сито –
Разрыдаться хочет,
Хочет выть бессильно ветер,
И ребенок плачет
Всё о том, что всё на свете
Ничего не значит.

<1934>

ВОЙНА И МИР

Снова – эти книжки в серых корках
О войне и мире давних лет...
Но от строк веселых привкус горький,
В солнечных страницах света нет.

Из-за шума этих строк веселых,
Строк большой победы, – как во сне,
Слышен горький, властный, страстный голос,
Голос самого Толстого мне:

– Делай что велят судьба и случай
Твоему слепому кораблю.
Я не приношу пустых созвучий,
Хоть и счастья мало я сулю.

<1934>

ОБНОВЛЕНИЕ

Я думал, что только влюблен,
Что надо с тобою бороться...
Мой ангел! Я страшно умен
Умом чудака и уродца.

Виски набухали от дум,
Мне чудился звон панихидный.

И – вправду – скончался мой ум,
Морщинистый карлик ехидный.

Он трясся, пощады моля,
Топорщился злобно, упорно,
Но тяжко прижала земля,
Прикрыла пробившимся дерном.

Я вздрогнул: «как быть без него?»
И смутные страхи возникли,
Но в свете лица твоего
Глаза к этой жизни привыкли,

И видят, и видят они
За днями унынья и тленья
Тягчайшие, трудные дни,
Прекрасные дни обновленья...

Дождь сеется: небо мертво,
И солнце на нем не смеется...
Мой ангел, я новый, я твой, –
А даром ничто не дается.

<1934>

* * *

Отряхни свою внешнюю скуку, –
Пусть заблещут глаза новизной.
Протяни свою теплую руку
Без смущенья при встрече со мной.

Год назад неживое, как камень,
Сердце жжется, и чудом труда,
Чудом творчества сотканный пламень
Не угаснет теперь никогда.

Наши общие крылья во вьюгу
Никогда не повиснут, как плеть,
Наши души навстречу друг другу
Никогда не устанут лететь.

И, смеясь над боязнью былою,
Синим воздухом страстно дыша,
Знай, что пыльной маньчжурской весною
Иногда воскресает душа.

<1934>

ТВЕРДОСТЬ

Солнце светит, мелькают года,
Что-то вечно, и что-то проходит...
Я люблю помечтать иногда,
Что ко мне вдруг богатство приходит.

Я женюсь, успокоюсь; жена
Даст мне мягкость; душа усмирится...
Ах, как нынче страдает она,
И как часто ей счастье снится!

Но – мне страшно подумать! – придет
Всё, – уверенность, счастье, богатство,
Но не будет ли это как гнет
Над душою моей колыхаться?

И не будут ли дни сожжены
И печальны, как дни листопада?..
Нет, не надо покорной жены,
Тишины и богатства не надо!

Пусть я каменнолицый и злой,
Холостой, преждевременный старец...
Неподвижность, застылость, застой, –
Я на счастье такое не зарюсь!

<1934>

* * *

Как мало светлых снов сбывалось!
А ты светла, и ты сбылась...
Где ты была? Где ты скрывалась?
С какой зарей ты занялась?

Где б я ни находился, где бы
Теперь ни пресмыкался я, –
И это выпцветшее небо,
И эта стылая земля,

И эти заспанные звезды,
И ветер, стонущий в ветвях,
И мерзлые вороны гнезда
На облетевших тополях,

Все знаки смерти и напасти,
Всё, что так ненавистно мне, –
Всё хочет обернуться счастьем,
Недавно виденным во сне...

Твое лицо я вижу рядом, –
Свет от него, свет от него! –
Обманиваюсь близким взглядом
И стуком сердца твоего...

И – что ж! – пусть тот обман минутен,
Пусть он исчезнет без следа, –

Прекрасен мир, прекрасны люди,
Не меркнувшие никогда.

1934

* * *

Да, я бесчувственен, негибок.
Я всё рассудком стерегу
И руку – холоднее рыбы –
Даю и другу и врагу.

И только для тебя – углами
Сегодня чуть смягченных глаз
Я тихо источаю пламя,
Оставленное про запас...

А завтра... Завтра всё мертво.
По-прежнему тебя не знаю...
Не понимаю ничего
И ничего не принимаю!

1934

* * *

Ничего не пропадает даром...
Даже еле тлеющий огонь
Может стать со временем пожаром,
Выжигающим тоску и сонь...

Пусть любовь сегодня оскудела,
Пусть сегодня день полупомерк, –
Продолжай свое ты делать дело,
Волею одной, упрямым телом
Подготавливая фейерверк,

Подсыпая порох там, где надо,
В тайники оружие кладя,
Пряча за таинственной оградой
Будущую бурю, канонады
Огненного хлесткого дождя...

Ничего не пропадает даром!

1934

* * *

Ничего у тебя не прошу.
Ты – далёко. Я чист пред тобою.
Я читаю и что-то пишу
И всё время гляжусь в голубое

Озаренное небо. Дымок
Восстает над соседнею крышей.
Мне не скучно. Но, если б я мог
Твой приветливый голос услышать, –

Разлился бы в груди моей хмель,
На глаза навернулись бы слезы...
Я б за тридевять прыгнул земель,
Я бы грянул бегом по морозу.

<1935>

ЖИВАЯ МУЗА

Есть что-то сладкое в небытии,
Есть что-то притягательное в смерти,
Но эти узкие глаза твои
Такие светлые зигзаги чертят,
Что, кажется, не только умирать,
Но даже, даже вспоминать об этом
Грешно. Пусть клонит в сон – не надо спать!
Будь человеком твердым, будь поэтом
Не холода, а теплоты, не сна,
А бодрствования; отвори объятья
Навстречу музе – светлая она...
Давно ли ей ты посылал проклятья
За девичий восторг, за чистоту?
Ах, мы меняемся, не знаем сами,

Когда же ангел нам укажет ту
Живую музу с узкими глазами!

И странными становятся тогда
И слышными как будто издавека
Мучительные вдохновенья Блока,
Несущие свой яд через года.

<1935>

ДВА ПОЕЗДА

Ты уезжаешь завтра. Солнце встанет,
И на вокзале соберется люд.
Ты уезжаешь завтра. Как в тумане,
Гремя, вагоны предо мной пройдут.

Свисток... Проклятый уходящий поезд
Умчит тебя в лазоревую даль.
Широкополой шляпой я прикроюсь –
Скрыть слезы, замаскировать печаль.

Жить – это ждать, ждать терпеливо, молча,
Неделю, месяц, – каждый день, как год...
О сердце жадное, о сердце волчье, –
В нем никогда надежда не умрет,

Что будет *день*, день жизни настоящей,
Рай на земле, осуществленный сон!..

И поезд милый, поезд приходящий
Стальной походкой содрогнет перрон!

1935

* * *

Одно ужасное усилие,
Взлет тяжко падающих век,
И – вздох, и вырастают крылья,
И вырастает *человек*.

И в шуме ветра городского
И пригородной тишины
Он вновь живет, он верит снова
В те дали, что ему видны, –

Обласканные солнцем дали,
Где птицы без конца свистят,
Где землю не утрамбовали,
Где звезды счастьем блестят...

Но облака идут волнами, –
Как холодно и – что скрывать! –
Как больно хрупкими крылами
Уступы зданий задевать!

1935

МУЗЫКА

Сегодня луна затуманена
И светит не ярче свечи.
Полусумасшедший Рахманинов
С соседней веранды звучит.

Нет радости, – да и зачем она?
Люблю ту холодную грусть,
Что девочка с личиком демона
Разыгрывает наизусть...

Аккорды рыдванами тащатся
И глохнут – застряли в пути,
И всё это трелью вертящейся
Вплотную ко мне подлетит,

И всё это облаком музыки
Осядет со мной на скамью,
Как жук, расправляющий усики,
Садится на лампу мою...

А утром я всё, что запишется
Из схваченного на лету,
Отмечу презрительной ижицей
И, бледный, нырну в суету...

1935

НИЧЕГО

Пусть судьба меня бьет, – ничего!
В этом нет хвастовства и снобизма.
Это слово, – недаром его,
Говорят, повторял даже Бисмарк...

И сегодня, смертельно устав
От любовного странного бреда,
Повторяю, как некий устав:
«Ничего! Еще будет победа...

Ничего! Мы еще поживем,
Жизнь укусим железною пастью,
Насладимся и женским огнем,
И мужскою спокойною властью».

Так, владея собой до конца,
В простодушно веселой гордыне,
Льется голос большого певца,
Сотрясая сердца и твердыни...

А когда мы споем свою роль,
С честью выступив в этом концерте, –
«Ничего» – притупит нашу боль,
«Ничего» – примирит нас со смертью...

1935

ШАНХАЙ 1937–1946

* * *

Я этого ждал
за подъемом,
за взлетом –
падение...
Я неразговорчив с тобой
и подчеркнуто сух.
Но – видишь? –
у глаз
западают
глубокие тени –
знак верный,
что ночь я не спал
и что мечется дух.

Ты тоже, что я,
ты плывешь
на обломке бывшего
по мутным волнам

настоящего
серого дня.
Так вот почему
я тебя
понимаю с полслова.
Так вот почему
ты порой
ненавидишь меня.

Я с ужасом жду,
что в любую минуту
при встрече
ты
словом холодным
во мне
заморозишь весну.
Я вздрогну от боли,
но
око за око
отвечу
и ясностью взгляда
и плетью рассудка
хлестну.

Но, снова оттаяв
всем сердцем
к тебе повлекуся...
Ужасна любовь
у холодных

и горьких людей!
У них
поцелуй –
самый нежный –
подобен укусу
и каждое слово
осинового жала
больней...

1937

ВСТРЕЧА

Бездумный, бездомный,
С тоской: побывать бы в Москве, –
Я завтрак свой скромный
Заканчивал как-то в кафе...

Вдруг с улицы кто-то
Согбенно ко мне подошел...
Что мне за охота,
Чтоб нищий торчал над душой!

Я вынул десятку,
Десятку военных времен,
И сунул, как взятку,
В надежде – отвяжется он.

Наивно я думал,
Что он отойдет от души...
Он смотрит угрюмо,
Десятку хватать не спешит.

Вгляделся я ближе,
Скривясь, в маскарад нищеты
И с трепетом вижу:
Знакомые всплыли черты...

Приятель как будто
В былом, а теперь не узнать...
Сережа... Не буду
Фамилию припоминать!

Читаю стихи я,
Бывало, а он говорит:
– «Спасти бы Россию!»
– «Россия!» – я вторю навзрыд.

«Давно ль это было?»
– Лет семь или восемь назад.
Неужто те силы
Иссякли? Неужто – закат?..

И в нищенской маске
Я что-то *свое* узнаю...
«Вот вам и развязка», –
Шепчу я и тихо встаю.

Ни слова, ни звука
Ему мне сказать не нашлось...
А на сердце – скука,
Тягучая скука без слез!

Всё видя, всё зная,
Себе мы не в силах помочь...
Вся жизнь как сплошная –
Одна – бесконечная ночь!

1940

ПИАНИСТКА

В. Т-ской

Она была вне этого закона...
В Шопена вкладывала мятежи,
Бряцанье шпор и неподдельный *гонор*
Без тени самомнения и лжи.

А нынче в браке состоит бесславном
За торгашом, который в меру гнил
И в меру стар... Ну что она нашла в нем!
Еще смела. Еще в глазах – огни,
Еще в походке – трепет и движение...

Надлома нет. Но он произойдет!..
Непостижимое соединенье
Высот нагорных с гнилями болот!..

Подходит лимузин: садится рядом.
Давлю во рту проклятие свое...
Что перед этим двойственным парадом
Я, безработный, любящий ее!

Она была вне этого закона
Продаж и купль...

Да, ошибался я...

Что ж, надо постараться жить без стога,
Презрение навеки затая...

1940

В ТАКИЕ ДНИ...

В такие дни – мне быть или не быть? –
Вопрос пустой, вопрос второстепенный.
В такие дни вопрос моей судьбы
Решаться должен просто и мгновенно...

Как много братьев нынче полегло!..
Из них любой, любой – меня ценнее,
Но смертной тьмою их заволкло
За родину, за честность перед нею!

В такие дни, дни стали и свинца,
Мне кажется: – включившись в гул московский,
И Гумилев сражался б до конца
В одной шеренге с Блоком, с Маяковским,

А если б он включился в стан врагов
И им отдал свое литое слово, –
Тогда не надо нам его стихов,
Тогда не надо нам и Гумилева!

Ноябрь 1941

КАК ПИСАТЬ?

Всем миром правят пушки...
О, как писать бы лучше?
Писал чеканно Пушкин,
Писал прозрачно Тютчев.

Учись у них не очень,
Но простотой не брезгуй...
Пусть будет стих отточен
До штыкового блеска.

Бери слова по росту,
Переливай их в пули.
Пиши предельно просто,
Без всяких загогулин.

А – главное – пусть копит
Душа суровый опыт
Лихой зимы военной
С победой неременной, –
Чтоб быть всегда живою,
Навеки боевою!

<1941>

РОДИНА

Людам-птахам мнится жизнь змеєю,
Скользкой, без хребта.
Ну, а я? И сам я был – не скрою –
В сонме этих птах.

Впрочем, нынче я уже не птаха,
Хоть порой пою
Про былое, скомканное страхом,
Про тоску мою.

Подколотная напасть боится,
Хоть она жадна
До такой, как я, мудреной птицы,
Падавшей до дна,

Но потом вздымавшейся в полете,
Что твоя душа,

Словно не сидела на болоте,
Перья вороша,

Словно не шарахалась по-рабы,
Пряча в крылья грудь,
Словно не шептала: «Ах, пора бы
Мне бы отдохнуть!»

Страх змеиный мне не гнет колена,
И живу – живой...
Отчего такая перемена?
Гордость – отчего?

Оттого что и в плену болота,
И в тисках тоски
Родины работы и заботы
Стали мне близки...

1942

ГОРОД И ГОДЫ

Мне город дается:
рю,
руты
и стриты кривые;
я в их лабиринте
одиннадцать лет
проплутал.

Мне годы даются
гремящие,
сороковые,
кровавый сумбур,
что судьбиной
и опытом стал.

Мне сердце дается
живое,
но мир-кровопийца
в тиски
леденящей тоски
мое сердце берет.
Оно не сдается,
оно не умеет не биться,
срывается с петель
и все-таки
рвется вперед...

Я в городе этом,
как в стоге —
помельче иголки,
бродил, ошарашен,
среди зазывал
и менял.
Хозяева жизни —
надменные рыси и волки
сновали победно

и рыскали
мимо меня.

Притонодержателей кланы,
шакальи альянсы...
А я всё тоскую о Наде
любимой,
о ней,
что тоже любила,
но после...
ушла к итальянцу
за лиры,
что были
влиятельней
лиры моей...

От многих ударов
в висках —
преждевременно —
просесть...
Да, не без ушибов
закончилась
жизни глава!
Но мчащимся сердцем
я с теми,
кто свергнет
и сбросит
бессмыслицы гнет,
под которым и я изнывал.

Субтропиков небо
над городом этим
нависло...
Но именно там
полюбилось мне слово:
борьба.
И *мой* это город,
хоть многое в нем
ненавистно,
мои это годы,
моя это боль
и судьба!..

Мне город дается –
в бурнусах
из ткани мешковой
сутулятся кули
под солнцем,
палящим сверх мер.
Мне годы даются –
марксизма
и мужества школа,
заочный зачет мой
на гражданство
СССР!..

1943

ШАНХАЙ – 1943

Я утро каждое хожу в контору
На Банде...
Что такое этот Банд?
Так Набережная зовется тут...

Над грязной и рябой рекой – дома
Массивные, литые из гранита,
С решетками стальными, словно тюрьмы,
Хранилища всевластных горьких денег,
Определяющих судьбу людскую,
Людей всеневное существование,
Их хлеб, их свет, их душу, их житье,
Их смертное отчаяние порою,
Угодливую рабскую улыбку,
Дрожание холодных мокрых рук...

Когда-то мне казалось, что возможно
Ходить на Банд и душу сохранить,
Ходить на Банд, а по ночам творить
Свой собственный, особый мир из песен,
Из сложных и узорчатых страстей,
Из смутных, неосознанных порой
Порывов и воцелений...

Я был наивен – в этом признаюсь.
Хотя признание это ранит душу,

Верней, лохмотья, что еще трепещут
На месте том, где реяла душа
И где теперь остался лишь бесперый,
Бескрылый мучающийся комок –
Лишь след, лишь тень крылатого когда-то
И гордого когда-то существа...

Я поутру встаю и умываюсь.
Мне леденит вода лицо и руки.
Потом глотаю тепловатый чай,
Чтоб хоть немного внутренне согреться,
Чтобы, садясь в малиновый автобус,
Затягиваясь едкой папиросой,
Немного разобраться в мутных мыслях,
Немного их в порядок привести...

Действительность нахальна и сурова.
Порою кажется, что кровью пахнет,
Что в каждом малом закоулке мира
Таится смерть...

Ну что же! Будем жить!..

Еще костюм не до конца истрепан,
Еще не каждый день терзает голод,
Не каждый день болезни пристают...

Я жить хочу! И ради этой жизни
Готов открыть лицо навстречу смерти
И крикнуть, выдержав ее усмешку:

– Проклятая, тебе мое презренье,
– Тебе плевок
от полумертвеца!..

1943

РАЗНЫЕ ЛЮДИ

Горожанин, к Шанхаю привыкший,
В связи, в связи и в доллары верит...
Вот он едет по Банду на рикше,
Вот шагает к вертящейся двери,
Вот летит на стремительном лифте
В «Мистер-Шмидт-экспорт-импорт-контору»...

«Дорогой мистер Шмидт, осчастливьте, –
Полминуты всего разговору, –
Приезжайте к нам запросто, друг мой, –
Айрин ждет, и предвидится бриджик...»

Мистер Шмидт улыбается кругло, –
Деловитый, осанистый, рыжий, –
Он согласен...

И рад горожанин:

Есть, пожалуй, надежда, что выйдет
Дочка замуж – богатый приманен...
Что с того, что она ненавидит
И осанку, и рыжесть, и говор,
И манеру его чертыхаться, –

Плюсов больше – апартамент и повар
И десятки аспектов богатства...

Да, таков настоящий шанхаец.
Но в Шанхае есть разные люди...

Вон шагает чужак, спотыкаясь,
И, уж верно, мечтает о чуде –
О большом лотерейном билете,
Что судьбой посылается в дар нам,
И невеста уж есть на примете...

Нет, судьба не снисходит к бездарным!..
Почему-то при встрече последней
Усмехнулась Ирина так колко
И не вышла проститься в передней...
Или папенька сбил ее с толку?..

Так подумав, шагает он вяло, –
От всего, что вокруг, отрешенный...
Еле виден сквозь дождь у канала
Бородатый индус в капюшоне,
Что, как странная статуя, замер
На углу Эдуарда Седьмого...

И колеблются перед глазами
И волокна тумана гнилого,
И река с зачумленной водою,
И над городом (коршун – не коршун?)

Черный ангел безумья и зноя,
В муке крылья свои распростерший...

1943

КАРУСЕЛЬ

Прокуренный, проалкоголенный, –
Сплошной артериосклероз, –
Сидел мужчина безглагольно
И вдруг банально произнес:

«Времена лихие...
Полубуйтесь: за сэндвич счет.
Цены-то! Как в России
При Керенском еще...»

Другой, что с ним сидел, ответил
С видом искушенного воробья:
«Возвращается ветер
На круги своя...»

И первый – вяло, еле-еле,
Проямлил: «Что-то даст апрель?
Н-да. Не на ту мы лошадь сели...
А впрочем, та же карусель...»

И третьего – *меня* – тоска сдавила
Многотонным грузом серых буден,

На которых штамп:

– «*Так было* –

Так будет!...»

<1944>

КАМЕЯ

Вот я сижу, вцепившись в ручки кресла,
Какие-то заклятья бормочу...
Здесь *женщина* была. Она исчезла.
Нет-нет! Мне эта боль не по плечу.

Она всё дать и всё отнять могла бы,
И – *отняла!*.. Дождь – кап-кап-кап – во тьму.
Прислушиваюсь, улыбаюсь слабо.
За что?.. зачем... так вышло? не пойму...

Мне ни одной вещицы не осталось –
Увы, увы! – на память от нее.
Остались ночью сны, а днем усталость, –
Похмелье, призрачное бытие.

Но я ведь вещность придавать умею
Снам, призракам и капелькам дождя...
И вот стихи – резная вещь, камей –
Дрожат в руке, приятно холодя.

<1944>

СВЕТИЛЬНИК

Ночь, комната, я и светильник...
Какой там светильник! Огарок
Свечи...
Тик-так – повторяет будильник,
Мой спутник рассудочный, старый
В ночи.

Час поздний. Но светоч чадающий
Внезапно разгонит дремоту
Совсем
И душу хватает и тащит
В былое – назад тому что-то
Лет семь,

В тот возраст, когда мы любили
И вечность в любви прозревали...
И вот:

То странною сказкой, то былью
Вся жизнь из могил и развалин
Встает.

Мгновенное заново длится,
Истлевшее светится ярко
До слез...
Забытые вещи и лица, –
Всё снова при свете огарка
Зажглось!

<1944>

МОРЕ

В тот год изранила меня
Судьба (все беды навалились!)...
Чужой всему и всё кляня,
В чужом порту я как-то вылез.

Ночь. Бар. Горланят и поют.
Тапер (горбун) бренчит ретиво.
И – так отраву подают –
Китаец подает мне пиво.

Я пью и вдруг впадаю в бред...
Кто тут – глазастой черной кошкой –
Глядит в меня? То пива свет
Или то темень от окошка?..

Кто шепчет мне: «уйди, уйди!»
Ведь я же гость – так не годится...
Нет, я один, совсем один
Сижу – нахохлившейся птицей...

Кто душу мне перевернул?
Чей странный голос пить торопит?..
То был ночного моря гул,
Проклятья волн и пены шепот...

И вот уж я в окно кричу,
Я прямо вопрошаю море:

«Что скажешь, море, мне, ручью,
Несущему большое горе?»

...В ту ночь я очень многопил.
К самоубийству близок был...
С тех пор я пережил немало,
Но помню город портовой
И бред и страшный смысл того,
Что море мне в ту ночь шептало:

– «Уйди, уйди!.. Ты тут чужой,
Ты не морской, а земляной,
Беззубый плоский серый ящер...
Твоя тоска – лишь блажь одна.
Ни в чем ты не дойдешь до дна. –
Какой-то ты не настоящий!..»

<1944>

ХИМЕРА

Сероватые ползут сторонкой
Сыровой ватой облака.
Затянули небо тонкой пленкой.
Тошно. Кажется, что смерть близка.

Что ни шаг – то тысячи препятствий,
Что ни мысль – то тысячи химер.

АНГЕЛЫ

Нужна ли лирика сейчас?..
Нет, нет и нет! Как будто ясно!..
Но, на минуту отлучась
От современности всевластной,
Чтоб тотчас к ней вернуться вновь
Таким же злым, на всё готовым,
Про вас, печаль, про вас, любовь,
Шепну украдкой два слова...
Вот я гляжу по сторонам...
Войдете вы – душа рванется
К той нежности, которой нам
Так мало в жизни достается.
Душа печальна и проста,
В ней нет усмешки, всё кривящей...
Откуда эта простота?
От вас, мой друг, чуть-чуть увядший.
Ко мне вернулись детства сны.
Откуда? Это вы мне снитесь.
И в эти сны заплетены
Луны серебряные нити.
Достаточно поймать ваш взгляд, –
С души как будто сброшен камень.
Как будто ангелы летят
Над перистыми облаками,
Их очень много – целый рой.
Но тут я говорю: довольно!

Я рву с заоблачной игрой,
При слове «ангелы» невольно
Усмешка вновь лицо кривит,
И явь страшна и не согрета...
И не до этой нам любви,
И не до нежности нам этой!

<1944>

ФЕНИКС

Курю
и смотрю
из-за дымных облак.
Хочется
чего-то
этого...
Роняю пепел,
и вдруг
ваш облик
пронесся в дыму,
и – нет его!

Но снова
зоркая
душа согрета
(а только что
мерзла и слеpla)...

Феникс,
кажется,
называется это
странное
восстание
из пепла!..

<1944>

СКВОЗЬ ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО

О музыки неверная стезя!
Верзила, возведенный в менестрели,
Пропел... Аплодисменты озверели.
А в зале яблоку упасть нельзя.

Потом он снова вышел, лебезя.
Заныл рояль, изобразив свирели.
Актер с тапером, расточавшим трели,
Сошлись, как закадычные друзья...

И двойственное вызывают чувство
Тех песен надболотные огни...
Чем он толпе собравшейся сродни?

Гипноз. Цветное стеклышко искусства.
Беспечный трутень средь безумных пчел...
Насытился, откланялся, ушел.

<1944>

КОШКА

Вот мы снова встретились,
Встреча роковая...
В шубе и в берете вы
Ждете у трамвая.

Спрашиваете новости,
Хвалите погоду,
Оживает снова всё,
Как тогда – в те годы...

Как сдержать рычание мне?
Как держаться смело?..
Полное отчаянье...
Что я буду делать?

Ах, опять мяукаю,
Ах, опять безвластен
Я над этой мукою
И над этой страстью.

Мне любви бы крошечку –
Весь бы страх растаял...
Но ведь вы, как кошечка,
Замкнутая, простая,

Уж в трамвай заходите,
И кондуктор свищет.

И опять — как в годы те —
Я торчу, как нищий...

<1944>

ДОСТОЕВСКИЙ

До боли, до смертной тоски
Мне призраки эти близки...

Вот Гоголь. Он вышел на Невский
Проспект, и мелькала шинель,
И нос птицеклювый синел,
А дальше и сам Достоевский

С портрета Перова, точь-в-точь...
Россия — то выюга и ночь,
То светоч, и счастье, и феникс,
И вдруг, это всё замутив,
Назойливый лезет мотив:
Что бедность, что трудно-с, без денег-с...

Не верю я в призраки, — нет!
Но в этот стремительный бред,
Скрепленный всегда словоерсом,
Я верю... Он был и он есть,
Не там, не в России, так здесь,
Я сам этим бредом истерзан...

Ведь это, пропив вицмундир,
Весь мир низвергает, весь мир
Всё тот же, *его*, Мармеладов
(Мне кажется, я с ним знаком)...
И — пусть это всё далеко
От нынешнего Ленинграда! —

Но здесь до щемящей тоски
Мне призраки эти близки!..

<1944>

РОССИЯ

Ярмо тяготело. Рабы бунтовали.
Витала над Пушкиным тень Бенкендорфа...
Россия! *Советской* ты стала б едва ли,
Когда б не пробила — травую из торфа,

Пожаром из искры... Былое так близко,
Так явственно нам в эти годы нашествий...
Недаром изглодан в чахотке Белинский,
Недаром в Сибири зачах Чернышевский!

Недаром герои твои темнолицы,
С прищуром, с усмешкой — то мудрой, то детской...
Из этой усмешки, из этих традиций
И соткано слово: *советский, советский!*..

Что может быть этого света прекрасней,
Тобою, Россия, зажженного света?
Она не исчезнет, она не угаснет,
Она не померкнет – преемственность эта!

<1944>

ДОМ

Нравится мне этот дом
с садом, с прудом,
в шесть комнат (из них
четыре больших)...

Светел, уютен,
чист, но не для меня.
Ведь я беспутен –
пьяница, размазня...

Чтобы в этом доме
хоть час пробыть,
мало бродить в истоме, –
надо его *купить*.

А я – бездельник –
вечно хожу без денег...

У этого дома
хозяин – гном,

старик незнакомый...
Вот и шляюсь я под окном
по два, по три
битых часа,
и гном с досадою смотрит,
откуда взялся
бездомный бродяга, –
зло смотрит, искоса,
так бы взял и высказал:
«мой, мол, дом и бумага
в исправности купчая, –
дескать, голубчик, –
самое лучшее –
уйди, не торчи под окном...»

И дом,
где бы встречались
я и мои друзья,
за меня опечалюсь,
будто шепчет: «дружок, нельзя...
хотя и хороший знакомый ты
и бездомная птица ты...»

У этого дома комнаты –
все, кроме одной, *пусты!*..

<1944>

ПОЭТ

Я – поэт... Мне тяжело звание это.
Чем я оправдаю хилый труд?..
И клянeshь, клянeshь удел поэта,
И вопросы злые душу жгут.

Так и сдохну? Так без счастья сгину?
Так сгорю на медленном огне?..
Прочь стихи! Сегодня я прикину,
Сколько, сколько это стоит мне.

В день штук сорок папирос едучих,
Не считая всех ночей без сна,
Да небес больных в тяжелых тучах –
Так, что и не скажeshь, что – весна.

И за эти дни, за эти ночи,
За надрыв груди и взора муть
Все меня бранят: «чего он хочет?
Для чего такой неверный путь?»

Я согласен. Я вполне согласен,
Что нельзя так жить, себя казня...
Мир прекрасен, божий свет прекрасен, –
Всё прекрасно, но не для меня!..

<1944>

* * *

Я денно и ночью молился суровому богу,
Чтоб он мою страсть мне простил или сам погасил ее.
Я долго не знал, на какую мне выйти дорогу...
Томленье. Бессилие...

Но как-то я понял, что каждый усталый и слабый
(И я в том числе) обращается к богу и ластится
И молит умильно: «О господи, дай мне хотя бы
Полпорции счастья!...»

Да, так – что скрывать? – я молился надменному богу,
Когда его имя писал еще с буквой заглавною...
И только годам к тридцати вышел я на дорогу –
Широкою, славную –

Не к счастью, а к знанию, вперед устремляя со страстью
Глаза ненасытной души, неизменно бессонные...
Я думаю, это и есть настоящее счастье
И радость весомая!..

1945

Человек умрет. Его забудут
 Даже те, кто были с ним на «ты»,
 Даже если в год два раза будут
 На могилку класть цветы...

Но иной умерший, добрый, сильный,
 Что внушал нам, злым и слабым, стыд,
 Одолеет холод замогильный,
 Непременно отомстит!

Отомстит нам жизнью в жвачке и в зевоте.
 В суете и в сутолоке дня
 Он нам скажет:

«Так-то вы живете!

Так-то помните меня!..»

Мы вдруг ощутим не без боязни
 Тихий, странный замогильный свет.
 И для нас не будет хуже казни –
 Хуже этой казни нет! –

Чем упрек от скрытого в могиле,
 Чем укор суровый от лица
 Ставшего легендой и былью –
 Более, чем мы, живого мертвеца...

1945

В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ 9 МАЯ 1945 ГОДА

Она и он за столиком сидят
 И видят исключительно друг друга.
 Неподалеку – янки, пять солдат
 Вокруг большой бутылки, полукругом.
 Пьют и смакуют скверный каламбур.
 Дрожит окно, трамвай несется тряский.
 Жарища и отчаянный сумбур,
 Водоворот людской и свистопляска.

Она и он не слышат ничего.
 Им в то же время слышно всё на свете,
 Что надо. Сдержанное торжество
 На испитых и бледных лицах этих...

У ней родных угнали в Освенцим,
 А он едва не угодил в Майданек.
 Один. Одна...

Прислушиваюсь к ним.
 Она (чуть шелестя губами): «Янек...
 О, если бы ты знал!» А он, склонив
 Лицо, с улыбкой тонкой понимая,
 Ей говорит: «Ты на меня взгляни
 И улыбнись, и всё забудем, Анни...»

Слова просты и вроде бы пусты.
 Но в каждом слове, даже в каждом слоге

Душа к душе – наведены мосты,
Душа к душе – проложены дороги.

И это пир, любви раздольный пир
В кафе дешевом, в грохоте трамвая...
Им кажется, что в них одних – весь мир...

А мир о них и не подозревает!

1946

РАССТАЛИСЬ!..

Я в юности клялся, что выделюсь,
Что в люди я выскочу – клялся...
И вот в Новый год мы увиделись
(Лет восемь я с ней не видался).

Вся в блестках и кольцах она, ну, а я еще
Всё в том же потертом шевиоте...
Сказала с улыбкой сияющей:
– Вот встреча!.. Ну как вы живете?..

Что я ей отвечу? И так она
Всё видит: и складки заботы
У рта, и портфельчик истасканный...
Всё видит и прячет зевоту.

Беседа шла самая светская:
Дней юности мы не касались.
Потом ее рученька детская
Скользнула мне в руку – расстались.

Расстались.

Чужие!..

Сегодня я
Всю ночь, видно, буду не спать,
Шептать:

«Это ад, преисподняя...»

Себя и ее проклинать,
Зализывать раны опять...

А дни-то стоят – новогодние!

1946

СВЕРДЛОВСК 1950–1974

ЖУРНАЛИСТ (Памяти Николая Петереца)

Опять листаю годы за границей –
Как опускаюсь в черную дыру...
Но были ведь и светлые страницы?
Да, да... И в памяти возникнут вдруг:
Пропахшая лекарствами больница,
Под белой простыней угасший друг.

Той простыни он никогда не сбросит:
Он стал землей китайской и травой.
Но, знаю, он с меня и мертвый спросит:
«Чем дышишь ты, как ты живешь, живой?»

Лишь в дни, когда я мелок, пуст и низмен,
Мой друг во мне убийственно молчит...
Впервые – думаю – о ленинизме
Я от него понятие получил.

*

Советскую мы делали газету
В Шанхае. Он порой до трех утра
Над гранками клонился душным летом.
Изматывали мокрая жара,
Туберкулез и прочие болезни.
Потом он слег, почти лишился сна
И, помню, бредил:

«Сделать смерть полезней...

Да, да... Пусть повоюет и она...»
О, это рвенье честное, святое!
Стояли мы, газетчики, над ним,
Я, помню, думал, что гроша не стою,
Здоровый, перед таким больным.
Когда в его лице усмешки лучик
Маячил, боль и бледность оттеня,
Жгла чуть не зависть: до чего ж он лучше,
Умней, сильнее, во всем первой меня!..
А он, бессонный, бредит про дороги,
Которыми пойдет весь род людской.
Победы скорой предрекает сроки
И рубит воздух худенькой рукой, –

Травинка малая...

Как льдинка, твердый,
Как искорка, готов разжечь костер...

*

Шел год грохочущий, сорок четвертый...
Воды и крови утекло с тех пор
Немало.

Я в стране труда и мира.
Но не забыть мне тех далеких дней,
Когда тоска по родине томила
И с каждым днем мне было всё больней,
Что я живу – проклятье! – вне России,
Что, видно, надо с корнем вырывать
Зеленый куст в пустыне ностальгии –
Мою мечту: в Москве бы побывать, –
Мечту, что с детства окрыляла душу,
Потом несбыточной стала вдруг...

Я знаю: я зачах бы от удушья
В Шанхае, если бы не этот друг,
Который научил меня работать
Для родины и зло меня корил
За глупую лишь о себе заботу,
Который, помнится, *так* говорил:
«Нам чудо-родину судьба дала...
Любить ее, не зная ее тепла, –
В такой любви серьезность есть и сила...
Страдание ее не угасило,
Сомнение ее не умервило,
Изгнание накопило добела!...»

*

Пропахшая лекарствами больница,
Тот день – *одиннадцатое декабря*,
Та ночь, та сизо-мутная заря
Мне кажутся порою небылицей...
Но нет: всё это было, и – не зря!

...В то утро (буду протокольно краток)
Сошлись в палате мы, его друзья,
Молчим и прячем от него глаза.
Он был в сознании, он нам сказал
Чуть иронически:

«Не надо прятко́в,
Да и от правды спрятаться нельзя...
Живем на политической помойке,
Под оккупантами, чуть не в плену.
Но я, и лежа вот на этой койке,
Настроен на московскую волну.
Наш путь на родину, хотя и тяжек, –
Он всё же в гору путь, а не с горы...
“Игра не стоит свеч”, – нам скептик скажет, –
Врет: стоит, если нет другой игры!..
Известно: танк пером не протаранишь,
И лист газетный, ясно, не броня,
Но, душу Лениным воспламеня,
Мы родине теперь нужней, чем раньше...
Вот так-то... жить нам дальше... без меня!...»

«Жить!» – рубанул рукой он, сам весь выжжен
Бессонницей, прикончившей его;
Вздохнул рывком и лег, навек недвижим;
Глаза как лед, лицо как мел – мертво...

*

И если я *что* смыслю в ленинизме,
Я этот смысл в те дни войны извлек
Из этой щедрой – жаль, недолгой – жизни...
Мне эта смерть – опора и урок!

1950–1974

ГЕРЦЕН

Опять эта книга меня растревожила...
Опять, усмехаясь и слезы роняя,
Читаю всю ночь... И прошедшее ожило,
Как будто в него погружаюсь до дна я.

День видится серый, промозглый, холодненький,
То сеет дождем, то поземкой пылится.
Несутся кибитки, плетутся колодники –
Клейменные лбы, изнуренные лица.

Жандарм и чиновник искусно расставлены –
Монарховы уши, монарховы очи.

Россия нема, зашнурована, сдавлена,
И души и спины иссечены в клочья.

Молчалин глумится над разумом, прянувшим
К свободе из мрака имперского трюма...
Об этом ушедшем, но всё еще ранящем
Опять повествуют «Былое и думы».

Былое... Мороз пробирается в сердце нам,
И бьется оно в ледяной водоверти,
И бьется в нем горькая родина, Герценом
Отвергнутая и родная до смерти.

В уме же, навек околдованном истиной, –
Глухая борьба: превратиться в холопа,
В чиновника? Нет! Остается единственно
На многие годы уехать в Европу.

Но что же Европа?... Лабазник и лавочник,
Как глянешь вблизи, и фальшив и беспутен...
И тысячи мелких уколов булавочных
Не меньше смертельны, чем штык и шпичрутен...

И вдруг, как победа над болью непрошеной,
В Россию, туда, где не видно ни зги было,
Луч разума – слово великое брошено,
И, стало быть, дело еще не погибло...

Колотится слово, как колокол, – вольное,
Из трюма зовущее к солнцу, на воздух,
К свободе, и зовы его колокольные
Найдут в поколениях свой отклик и отзвук.

Читая, вникаю в несчастья и радости,
И ветер истории в комнате веет.
А родины небо, а небо уральское,
А небо Свердловска в окне розовеет.

1952

* * *

Разбросана, раздроблена жизнью
Былая моя чистота.
Но в старости вдруг свежестью брызнет,
И, кажется, не так уж устал,

И жаждой что-то делать, и вызовом
Посверкивают злые глаза,
И снова тянет строки нанизывать
И жить, не озираясь назад.

И вглядываться в зори небесные,
И жизнь перейти не медлительно,
А (Рерих): «Как по струне бездну –
Бережно и стремительно!..»

1954

ИПОХОНДРИЧЕСКОЕ

Страшный натюрморт,
Пахнувший тюрьмой.
Снятся злые сны:
Нету мне весны,
Добрые глаза
Зло по мне скользят...
Милые глаза,
Годы взять нельзя
Назад!..
Всё в себе губя,
Все-таки любя,
Призрачно живу,
Как не наяву...
Есть жена и дом,
Добытый трудом.
Только мне страшна
Сонная тишина.

1954

* * *

Настольной лампы матовая стылость,
Пригоршни дождика стучат в окно...
Неделя – как со мною ты простилась,
А кажется давно, давно, давно.

Ото всего спасенье есть – работа.
Я от тебя хочу спастись, мой друг,
Работой, невзирая на дремоту,
Работой, невзирая на недуг.

Работой, в лихорадке, в наступленье
На всё, что точит и мельчит меня,
Что ставит перед жизнью на колени,
Гася остатки страсти и огня...

1954

ВСЁ ЗАНОВО!..

Цвет заката какой-то нахальный,
Маслянистый, пятнистый, рябой...
Принимает меня привокзальный,
Оглушающий сразу прибой.

На полу чемоданы расставив,
На один я устало присел...
Сколько разом нарушено правил,
Сколько разом оборвано дел!

Сколько раз разрубаю я путы,
Сколько – жгу за собой корабли!..
Снова жизнь начинаю, как будто
По былому командую: пли.

Хоть не враз уничтожишь бывшее,
Расстреляешь его хоть не враз,
Всё равно оно станет золою,
Как горящего дома каркас.

Так, да здравствует – пусть невеселых,
Пусть тревожащих дум новизна!..
Так, в апреле на веточках голых
Пробивается зелень-весна...

Снова в путь!.. Я еще ведь не старец.
И хотя пожилой человек,
На покой и застой не позарюсь
И рутине не сдамся вовек.

Ну, так в путь, неизведанный, дальний,
В новый, может, рискованный бой!
Принимай же меня, привокзальный,
Милый

людовой прибой!..

1955

ЭРЕНБУРГ

Пером своим ямы он вырыл
Для лживых холодных людей.
И нынче ушел он из мира, –
Большой и родной иудей.

Правдив до последнего вздоха,
Готовый на спор и на бунт...
И молод он был, как эпоха,
До самых последних секунд.

Проходят поветрия, моды,
И даль обращается в близь...
А Эренбург резок и молод,
Как люди, как годы, как жизнь!..

1969

* * *

...Вот опять капли пота
Я стираю со лба...
Для кого ж я работал,
Люди, злая толпа?

До чего же вас много,
Тех, кто травит меня
И словом: «недотрога»,
И словом: «размазня»,

И словом: «неудачник»...
Так живу, заклеямен
И спроважен на тачке
На помойку времен.

Постаревший, угрюмый, –
Тих, сутул, как сова, –
Годы, годы я думал
За себя и за вас...

И рожденные мысли,
И прозрения дрожь
Над бровями нависли...
Чем я вам не хорош?

Может, тем, что уставший
И кажусь стариком,
Часто пьяный и сдавший...
Я и вправду таков...

Что ж, пускай нелегко мне
И ни с кем, и нигде, –
Может, кто-нибудь вспомнит
Из грядущих людей...

Через годы и муки,
Через воды-огни,
Лю-уди, к вам свои руки
Я тяну: вот они!

Чтобы стихли вы сразу
И промолвили:
«Ша!»

Вот он – руки и разум,
И душа,
и душа!»

1971

* * *

Как тебя я увидел во сне
На мгновенье живую, бывую,
Затеплилось сердце во мне,
И казалось: тебя я целую.

Ты была нестерпимо близка,
Так, что сердце срывалось с причала...
А потом ты ушла, и тоска
Снова день мой и сон омрачала...

Я проснулся. Опять – как в аду –
Склоки, сплетни, интриги и шашни.
И бреду я у всех на виду,
Невеселый, как сон мой вчерашний.

1973

У СВОЕГО ЖЕ ОГНЯ

В юности, – застенчивый, дикий, –
Гением себя возомня,
Чтением себя пламеня, –
Помню, зарывался я в книги –
Грелся у чужого огня.

После, став немного постарше,
Сам решил я книги писать...
Годы всё писал, но, уставши,
Сдался, перестал и дерзать.

Но черновики и наброски
Всё я для чего-то храню.
Слипшейся бумаги полоски
Жалко предавать мне огню.

Это же осколки мира,
Жившего с рожденья со мной...
Седенького папы-кассира
Видится мне облик родной.

Первая любовь моя Муся
Видится, – серьезна, светла...
Помнится, за что ни возьмусь я,
Вкладываю душу дотла...

Вдруг из давней давности вести
Старенький сулит мне блокнот:
Память о погибшей невесте
В буквах полустертых встает, –

Ира. Умерла от угара...
Вспомнили блокнота листки
Глаз ее зеленые чары,
Золота волос завитки...

Годы то влачили, то мчались,
Били по моему кораблю...
Но я о себе не печалюсь,
И не о себе я скорблю, –

Жалко мне людей, что так бледно,
Робко поживут и уйдут...
Всё же они шли не бесследно,
Всё же они чуточку тут!

Вытянусь пред ними в салюте, –
Весь я, кровавой и земной...
Пусть, пока живу, эти люди
Будут нерасстанно со мной.

Давнее пусть кажется близким,
Жгучим и живым для меня!..
Старые
перебираю
записки –

греюсь
у своего же
огня...

1974

* * *

Равняясь по самым высоким вершинам,
Тшедушен и мал, –
Давно нелюбимым Поэзии сыном
Под старость я стал.

Она предо мною захлопнула двери:
«Куда уж тебе, комару!..»
Но я остаюсь ей, Поэзии, верен
И с этим умру!..

1974

НЕДАТИРОВАННОЕ

ЗАГОВОР

Объединяются весна с луной
И на меня напасть приготавлиются,
Шушукуются, рыщут надо мной,
Шушукуются, рыщут, ухищряются.

Угроза новой затяжной любви...
Ах, не попасть бы из огня да в полымя.
Борюсь с собой, держу глаза, как Вий,
Прикрытыми ресницами тяжелыми.

Стихи читаю вслух и про себя,
Ритм создаю холодный, острый,
бритвенный,
И рифмы обличительно скрипят...
Я – как монах, настроенный молитвенно.

Напрасный труд... Весна с луной
сильней
Моих словес холодной окрыленности, –
Стихи становятся острее, больней,
Но даже им не одолеть влюбленности.

ОСЕННЕЕ

Сутки сплошь, то густой, то пореже
Сыплет дождик. Я болен: знобит.
И глаза мне особенно режет
Мир мой малый, убогий мой быт.

В окнах плещутся струи косые.
А за окнами, сизо-мутна,
И по-древнему как-то Россия
Приуныла, как будто больна.

Мысли вялы, робки, словно вата.
Давит на сердце каждый пустяк.
Ничего-то на свете не свято.
Как у мало знакомых в гостях,
Тесновато...

Хулиган бы, по умственной лени,
Грянул матом бы, как обухом.
У меня ж, у поэта, стремленье
Грять злым и тяжелым стихом.

Как мне выйти из жизни рутинной?
Заплутался я в ней, как в лесу...
Как давно я свой подвиг старинный,
Тайный труд свой над словом несу.

Невеселое, нудное бремя,
Как намокшее в осень пальто,
Никаких не сулящее премий...
Всё не то, всё не то, всё не то!..

Всё вопросом преследует черствым:
Не напрасно ль живу, устаю?..
Нет, я верю в победу упорства,
В стойкость верю. На этом стою!..

Дождик зелень дерев ополощет.
Выйдет солнце, приветно лучась.
И покажется шире жилплощадь.
И вся жизнь – и просторней, и проще,
И гораздо светлей, чем сейчас.

* * *

Стрясется же *такое* с человеком:
Затор, тупик, отсутствие огня,
Стремление идти не вровень с веком, –
Плестись за ним!.. Так было у меня...

Явилась ты, глазастая, простая
(Глаза – то зарево, то водоем!),
И музыка, что за сердце хватает,
Мне прозвучала в голосе твоём.

Хотел я сердце охладить, но где там
Уйти от этой страстной простоты,
Такой *советской*! – да! – по всем приметам?..
Скажи, что делать мне на свете этом,
Чтоб никогда не горевала ты?

...А я ведь было до того дошел,
Что выбился из творческого строю.
Явилась ты, – я, окрылен душой,
Учусь, учу, работаю и строю.

А я ведь было, выжив из ума,
Всё ждал зимы, буранов и заносов.
Явилась ты: весна, а не зима,
И голос гроз и запах трав донесся.

Растаял на сердце последний снег.
Всё лучшее, что временно уснуло:
Деревьев зелень, музыку и смех,
Синь неба, – это всё мне ты вернула.

И кажется: я не живу, а мчусь
Среди цветов и ласковых улыбок...
Тебе, тебе за радость этих чувств
Всей кровью отогретое «спасибо!».

Вернуть мне музыку, вернуть любовь
К стремительной и трудной жизни, к людям, –

Да я за это на любую боль
Пойду, крича:

 люблю,
 люблю,
 люблю тебя!

ДРУГУ В.С.

Мой друг, с тобой мы навсегда
близки друг другу и родимы,
товарищи и побратимы...
А ведь приблизились года
утрат, уже необратимых...

Как обоюдоострый нож,
в мозги вонзилась мысль и жжется,
что прожитого не вернешь
и что всё меньше остается

на нашу долю и годов,
и городов, и рюмок водки...
Да, к этому я не готов,
еще веселый, пьющий, верткий,

и странно, голосом глухим,
я всё ж скажу, как из колодца:
«Дела у нас не так плохи,
и всё вернем, и всё вернется!»

Талант? Не знаю, есть ли, нет ли...
Но ежели таланта нет,
уже я не полезу в петлю,
как мог по молодости лет,

когда казалось: или – или,
или известность и успех,
или костям лежать в могиле...
Теперь живу я жизнью тех,

кто бесталанен и безвестен,
кто трудится день ото дня
и кто обходится без песен...
Теперь они – моя родня.

Так что ж! Не вечно быть мальчишкой.
Я жил, работал и любил,
и мне досталась песня: «Чижик,
чижик-пыжик, где ты был?!»

СТАНСЫ К АВГУСТЕ

1

Всё померкло. Стремленья остыли,
И призванья звезда не блеснит...
Люди мне ничего не простили, –
Твое щедрое сердце – простит.

Мое горе тебе не чужое:
Ты его разделила со мной...
Для меня с моей горькой душою
Ты – как образ любви неземной.

2

И когда мне смеется природа
Тихим смехом своей красоты,
Верю я, что сквозь горы и воды
Это ты улыбнулась мне, ты.

А когда разбушуется море,
И друзья предают так легко,
Я бесчувствен... Одно только горе –
То, что за морем ты – далеко.

3

Всё разбито. Надежды уплыли,
И вся жизнь – как утеса куски...
Но не стану холопом бессилья,
Но не стану рабом тоски.

Пусть враги мою гибель приблизят,
Пусть все беды меня сокрушат,
Но меня не согнут, не унижат...
Я с тобой – без тебя ни на шаг!..

4

Не солжешь ты, как многие люди,
Не предашь, хоть и женщина – ты,
Не оставишь меня, не забудешь,
Испугавшись людской клеветы.

Не напрасно в тебя я поверил:
Не сбежишь ты, разлукой дразня,
Ни врагу не откроешь ты двери,
Не смолчишь, когда травят меня...

5

Впрочем, я даже не презираю
И травящих толпу не кляню, –
Сам свое безрассудство я знаю,
Сам свою понимаю вину.

Сам не знал я, как дорого эта
Обойдется вина. Но душа
Всё тобою одною согрета,
Без тебя – никуда, ни на шаг!..

6

И плыву на обломке бывшего...
Всё пропало. И только твое

Имя, с детства мне милое, снова,
Я шепчу, и мы снова вдвоем.

И в песках возникает водица,
И в пустыне растет деревцо,
И щебечет заморская птица,
И прохладой мне плещет в лицо...

(По Байрону. Перевел Николай Щеголев)

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

ПОЛДЕНЬ

В этот час, в столовой сидела квартирантка, Роза Борисовна, розовощекая пухлая полуполька, стремительно вспыхивавшая от взглядов мужчин, причем кровь нескоро отливала от лица, и, облокотясь о покоробившийся стол, пренепрятно, с закрытым ртом напевала романс, один из тех романсов, которыми создают слезливое, обманчиво творческое настроение публике откормленные, «упитанные – как сказал бы Маяковский – баритоны», притворяющиеся Вертинскими, и, хотя обличье не так легко подделать под испитого Вертинского, они все-таки тщатся, стягивают выдающиеся животы, обводят вокруг глаз синие круги и поют с возможной тоской.

В этот час лирик Полозов находился за письменным столом, в комнате рядом со столовой и выстукивал на машинке очередную песню. Пение блондинки – поверьте! – содействовало ему в творчестве, хотя ни тени проникновенности не было в нем.

В этот час холмы железных крыш высматривали золотыми от солнца, и беллетрист, миновавший дом, где гнусила блондинка, прислушался к пению, шедшему сквозь раскрытую форточку, и сказал себе мрачно: «За что я, несчастный, должен всё подхватывать зорким своим взором, слышать чутким ухом

всё, что выбрасывает мир? Мне и этот зной раскаленных крыш, и этот гнусный голос, и стрекотание пишмашинистки!..» Он не знал, что это пела эффектнейшая, пышная полуполька, вдохновительница, грёза поэта, что стрекотал на машинке проникновеннейший лирик эпохи, который от многочисленных припадков вдохновения нередко побаивался признаков ранней старости, подходил к зеркалу, разглядывал со скорбью медленно, но верно прокладывающиеся морщинки на лбу и у глаз и вновь шел к машинке стрекотать, отдаваясь тревожному вдохновению. Только 20 лет было ему, и он писал:

Или это старость перед смертью,

Перед смертью в двадцать лет?

Блондинка внимала стрекотанью, вздыхала – зачем он избегает ее? – и ненавидела неритмичный треск клавиш.

Отсюда – и ее заунывное пение об уходящих годах, отсюда – и пронзительное вдохновение лирика, и – кто знает? – не отсюда ли крыши так золоты, так знойно, такое синее небо и такая тоска о существовании мира, что хочется броситься в реку, зарыться головой в желтые волны и при этом не уметь плавать.

ПРОЗА

РАССКАЗЫ

ТЕЛЕГРАММА

В антрактах они часто спорили об... эмоциях.

Виолончелист Рудольф, плотный молодой блондин с начинающейся лысиной, всегда отстаивал их существование.

Скрипач, – крепкий, с желтоватым лицом брюнет, – всегда противоречил ему. Фамилию он носил причудливую – Роксанов; имя и отчество – обыкновенные, – Павел Николаевич.

– Что такое эмоции в наш век, когда властвует машина, если даже признать их существование? – разглагольствовал он. – Где сострадание? Где любовь? – не вижу. Не знаю, как вы, господа, – а я с каждым днем всё более убеждаюсь, что человек – лишь мыслящая машина. На мой взгляд, думать иначе, значит – притворяться...

Музыканты по-разному реагировали на такие тирады. Пианист недоверчиво молчал, барабанщик ухмылялся туповатой улыбкой, и только Рудольф вскипал.

– Как вы можете жить с такими убеждениями, Павел Николаевич?! – спрашивал он, тщетно стараясь сдерживаться. – На вашем месте я бы давно намылил веревку...

– Удивительный вы человек!.. – неизменно отвечал Павел Николаевич и спокойно канифолил смычок...

Он давно служил в кинематографе «Ориенталь». Прямой, как метр, вечно спокойный, – ловко перебирая пальцами левой руки, он извлекал из своей скрипки безукоризненно чистый звук, но без намека на какое-либо чувство. Никто из сотоварищей-музыкантов не видел его другим.

Таким он был и сегодня, но...

Ему выпало играть соло чрезвычайно грустную мелодию. На экране – за столом, в полумраке каморки, сидит человек. Локти лежат на столе. Лицо утонуло в ладонях. Пальцы судорожно перебирают кожу лба. На миг человек проводит ладонями по волосам, открывая темное лицо затравленного зверя. В уголках глаз – затаенная надежда... Потом – приступ отчаяния, и лицо застилает сероватый туман.

Всё это, сопровождаемое томительной мелодией скрипки, захватывало даже самых нечутких зрителей.

Рудольф, в изумлении, похожем на ужас, косился на Павла Николаевича, – с ним, в самом деле, творилось нечто необычайное: во-первых, играл он проникновенно; во-вторых, изменил своей машинной позе, – наклонившись вперед, он точно приобщал к звукам всё свое существо; в-третьих, лицо его так полно передавало переживания гнетущего одиночества, что можно было бы и не смотреть на экран.

Рудольф почти в трансе наблюдал Роксанова. Несколько оправившись, он подтолкнул барабанщика, тупо созерцавшего свои барабаны. Тот вытаращил глаза.

Но на экране уже красовался кабачок нынешнего Парижа, и они едва не прозевали вступления в фокстрот.

При первом режущем аккорде Павел Николаевич выпрямился, как ни в чем не бывало. Поза его как будто говорила:

«Не знаю, как вы, господа, а я – лишь машина». Облик, так поразивший Рудольфа, бесследно исчез.

После окончания сеанса, когда укладывали инструменты, Рудольф ехидно ткнул пальцем в одно место в нотной тетрадке скрипача.

– А почему здесь раскисли, Павел Николаевич? – Голос Рудольфа дрожал от торжества.

Но на лице Павла Николаевича отпечаталось такое неподдельное непонимание, что Рудольф разом был выбит из колеи.

– Раскисли, – я говорю! – В его голосе уже звучала желчь.

– Уж не хотите ли вы сказать, что я что-то переживал, играя соло? Не думаю... Ха-ха... Ерунда...

Рудольф в бешенстве повернулся, чуть не застряв в дверях с виолончелью. Оставшиеся молчаливо протянули друг другу руки и разошлись.

Роксанов размеренным шагом дошел до ближайшей трамвайной остановки и сел в трамвай, который тотчас же тронулся.

Трамвай был полон, хотя перевалило за полночь. Лица, залитые электрическим светом, казались утомленными. Павел Николаевич равнодушно их озирает. О чем он думал?

«А она симпатична!» – мелькнуло в его голове, когда он скользнул взглядом по молодой женщине, сидевшей перед ним.

И мимолетная тревога охватила его:

«Полно! Машина ли я?»

Но он сразу отогнал эту «нелепицу» троекратным: ерунда!

Выйдя последним из трамвая, он направился к отелю «Анабиоз», где второй год снимал квартиру в третьем этаже.

«Так будут ходить люди будущего», – думал он, тщательно соразмеря дыхание с количеством шагов. Людей будущего он представлял машинами «без души, без любви, без лица».

Войдя в отель, он окунулся в полумрак и тишину. Но только на миг: с площадки второго этажа до него вдруг донеслись странные голоса, точно спорили мужчина и женщина.

Павел Николаевич стал поднимать по лестнице, пока не достиг того места, откуда шли голоса.

На фоне коричневой двери вырисовывалась женщина. Павел Николаевич сразу узнал ее: это была та, которую он только что в трамвае нашел симпатичной.

Женщина взволнованно приблизилась к нему.

– Прошу вас, взгляните: что с этим человеком? Он хотел передать мне какую-то записку, едва я пришла сюда. А потом – зажал ее в руке и... смотрите...

Павел Николаевич уже смотрел...

Человек в фуражке телеграфиста повис на правой подмышке на барьере лестницы. Ноги лежали на пыльном полу. Он остановил на Роксанове своей остеклевший взор. Так – с минуту. Затем, с усилием поднявшись, человек, шатаясь, шагнул к Павлу Николаевичу. Глаза стали чуть осмысленней.

– Господин... Телеграмма... – просипел он, внезапно сунув Павлу Николаевичу в руку смятый клочок. И, безнадежно махнув левой рукой, телеграфист побежал вниз: вернее, скатился по перилам на той же правой подмышке. Задребезжала входная дверь.

После минуты колебания Павел Николаевич развернул хрустящий листок, действительно, оказавшийся телеграммой. Она гласила:

«Крушение. Погиб Александр Васильевич Верлинский».

В недоумении Павел Николаевич протянул было телеграмму женщине, глядевшей на него выжидательно, и вдруг... отдернул руку назад, точно дотронулся до самовара.

– Что с вами?

Он ответил ей что-то успокоительное, хотя в глазах еще стояли слова на визитной карточке, приклепленной к двери: «Маргарита Александровна Верлинская».

И Павел Николаевич ясно почувствовал, что не в силах отдать ей телеграмму.

– Телеграмма касается лично меня, – сказал он, собравшись с духом. – Пьяный телеграфист, очевидно, перепутал адреса. Безобразие!.. Следовало бы заявить об этом, куда следует...

И, вежливо поклонившись на ее «благодарю вас», Роксанов поднялся к себе.

Наступившая ночь показалась ему ужасной. В передней он остановился у зеркала, готовясь к... самобичеванию.

– Ты ли это? – шептал он, вглядываясь в свое осунувшееся лицо. – Унижение и позор!.. Понятен телеграфист с его пьяным состраданием: трезвым – он легко исполнил бы свой долг. Но ты-то, надеюсь, – трезв! Только сегодня ты совершенно искренно спорил, доказывая отсутствие сострадания; и вот – оно объявилось, вопреки разуму. Ха!.. Не хватает еще любви...

В таком духе разговаривал с собою Павел Николаевич до рассвета. Под утро ему удалось забыться, после того как,

крадучись, он сбегал на площадку второго этажа и несколько раз обалдело перечел визитную карточку...

Три дня ему было не по себе.

На четвертый день, за бритьем, он сообразил наконец, что сострадание – не самый важный мотив его мучений. «Любовью отзывает!» – подумал он без прежнего задора, тут же решившись идти к незнакомке: терпеть дольше – у него не хватало сил.

Так, с чужим горем в кармане и с «любовью с первого взгляда» во всем существе, – медленно подходил Павел Николаевич Роксанов, – бывшая машина, – к коричневой двери. Но позвонить ему не привелось. Дверь внезапно распахнулась, и вышла Верлинская, одетая для выхода.

– Ко мне? – весело узнала она Роксанова. – К несчастью, я тороплюсь на телеграф. Пройдите со мной, если не заняты...

Тот без слов согласился, и они вышли вместе под яркое августовское небо.

Она говорила за двоих, не стесняясь его молчанием. Между прочим, рассказала казус, случившийся с ее отцом.

– Понимаете? – Заживо погребли!

И человек, так недавно ничему не удивлявшийся, услышал историю, которая заставила его вытаращить глаза в радостном изумлении.

Вот она – вкратце:

Ее отец, занимающий большой пост в соседнем городе, хотел приехать сюда, желая сделать ей сюрприз. По рассеянности он оставил нужные документы дома, в чем спохватился на ближайшей станции. Пришлось ехать назад со встречным

поездом, и... несчастье стало счастьем: колоссальное крушение произошло с поездом, шедшим сюда.

Газеты на другой день кричали о случившемся. Вскользь упоминали о гибели некоего административного лица. Фамилии не могли установить... Зато бесшабашный родственник Верлинского сразу решил, что дядюшка – в лучшем мире. Необходимо было известить кузину, что он и сделал. А сегодня Маргарита Александровна получила от отца успокоительное письмо.

«Телеграмма Миши вздорна. – писал он, – как ты, вероятно, уже убедилась».

Постскриптум:

«Не волнуйся!»

– Но я не получала такой телеграммы! – удивлялась Маргарита Александровна.

Тогда Павел Николаевич смущенно вынул из кармана смятый клочок со словами:

– Зато я получил!..

Верлинская почти не удивилась и, ласково улыбаясь, подала ему руку. У телеграфа они распрощались. Павел Николаевич пошел домой, и – даже глухие переулки казались ему красивыми. Стояла жара, но, от избытка новых сил, он бежал вприпрыжку.

– Какое мальчишество!

.....

Кажется, через месяц он превратился – к лучшему или худшему, не нам судить, – в женатого человека.

И Рудольф перестал с ним ссориться.

ПРОИСШЕСТВИЕ В ПАРКЕ

Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

А. Ахматова

1

Шадрин не раз бил свою мать, шестидесятисемилетнюю костлявую женщину.

Раз утром она не встала в шесть часов – ставить ему самовар. Занималась не совсем чистая заря, вещи в комнате казались серовато-голубоватыми и трудно распознавались, но Шадрин по привычке проснулся и высунул из-под одеяла большие голые плечи – и зимой, и летом он спал без рубашки. На стуле, рядом с пыльными носками, на брюках, лежали его крупные серебряные часы. Они указывали пять минут седьмого.

– Ну, ты, вставай!.. Жива, что ли! – закричал рассерженно Шадрин, медленно повертывая лицо к огромному сундуку, стоявшему в темном углу. Старушечье высохшее тело, неестественно протянутое на сундуке и прикрытое клетчатым – в крупную клетку – одеялом неизвестно какого цвета, не шевельнулось. В комнате стояла странная тишина, потому что часы тикали особенно громко. Так тихо бывает, когда находишься среди исключительно неодушевленных предметов – камней, деревяшек...

Шадрин слегка съежился и – полуголый – подошел к сундуку.

Она умерла ночью, неслышно, – видно, не столь от побоев, как от одинокой старушечьей тоски и обиды.

С минуту Шадрин стоял в неподвижности... Он даже сам не ждал, что так просто, без единого намека на жалость или тревогу, встретит эту смерть. Он даже не прошептал: «что ж, – умерла, туда и дорога!» – что показывало бы, что он отгоняет от себя неприятные, беспокоящие мысли. Не было ничего, кроме крохотного недоумения, вызванного неожиданностью этой смерти. Он думал, что старуха «проскрипит» еще пятьдесят лет.

«Придется пить чай на вокзале», – и он стал умываться у чистенького ручейника с исцарапанным зеркалом над ним. Глядя пристально и пытливо в это зеркало, Шадрин долго вытирал свое отесанное мужеством лицо, выглядевшее моложе, чем на тридцать четыре года. Из духа противоречия всему происшедшему ему вздумалось улыбнуться или хотя бы оскалить зубы. Это напомнило ему, что зубы, – из которых три коренных пришлось в прошлом году пломбировать, – что зубы-то он не почистил – забыл. Он недовольно, как бы брезгливо, нахмурился и стал их ожесточенно чистить, забирая на жесткую щетку толстые слои порошка, уже повыдохшегося от запаха мяты.

Наведя последний лоск на свою наружность, т. е. расчесав не очень густые светло-коричневые волосы, он вышел на улицу. Квартиру, состоявшую из вышеупомянутой комнаты и маленькой темной передней, Шадрин запер на ключ. Он делал всё сурово и медлительно.

Столь же сурово и медлительно он подходил к вокзалу, до которого ему было две минуты ходьбы. Грузин-буфетчик в пенсне по утрам грелся на солнце. Солнце за это время успело

подняться над полосками случайных облаков и уже припекало усыпанный дресвой перрон.

– Что я вижу! – вскрикнул грузин радостно. – Неужто чай пить со мной, Игнатий Васильевич?

– Да, – сказал безразлично Шадрин, – да, мать умерла.

– Что я слышу?! – подскочил грузин испуганно. – Это ужасно нехорошо...

Они прошли в тусклое помещение вокзального буфета.

Шадрин сел за столик с запятнанной горчицею скатертью, и китаец с масляной черной головой принес ему чай, налитый в красивый пивной стакан. Грузин любил поговорить с Шадриным. «Мы с вами, Игнатий Васильевич, имеем много общего», – говаривал он нередко. Но сегодня он почувствовал, что много говорить не стоит, и Шадрин, в самом деле, был доволен молчаливостью буфетчика. Он с жадностью с какой всегда ел по утрам, глотал сладкий красноватый чай и – откусывая сразу по полбулки – вчерашние сладковатые булки.

Сытый, как всегда, – до такой степени, что еще мог бы съесть четверть того, что съел, – Шадрин шел на службу. Он ощущал легкость и покой, потому, во-первых, что старуха сильно наскучила ему своим молчаливым присутствием в квартире, стоя часами неподвижно, прислонясь к обитой железом печке, которую она и летом подтапливала хворостом; во-вторых, потому, что чисто физически он давно не видел никакой разницы между этой старухой, его матерью, и прочими старухами, которые вечно торчали на паперти маленькой станционной церкви по субботам и воскресеньям. Рассудком же он считал, что жить должно только то, что молодо и сильно, а то, что доживает, не имеет этого права.

И теперь Шадрин был доволен, что может думать так – просто, без усилия. Он вспомнил себя – лет десять тому назад, когда ему было двадцать четыре. Да... Тогда пришлось бы делать усилие, вытравливать что-то грызущее и беспокоящее, наверное, даже бормотать: «туда ей и дорога!»

Этот день он провел так, как будто никто у него не умирал. Столько же часов просидел на службе, с тою же жадностью обедал, так же – только суровой и сосредоточенной – играл с сослуживцами в городки после обеда, так же напряженно, с непрерывным сознанием полезности того, что делает, нагибался за тяжелыми палками и внимательно, щуря левый глаз, кидал их, одну за другой, в начертанный на земле квадрат с разбросанными в нем увесистыми рюхами.

После городков, приблизительно в половине шестого, Шадрин как обычно отправился купаться. К мужским мосткам надо было проходить неподалеку от «женской купальни» – так назывались ничем не огороженные сходни, на которых женщины раздевались и высушивали купальные костюмы. В ближайших кустах сгрудились китайцы – человек восемь... Следя за плещущимися женщинами и девушками, китайцы хихикали. Их забавляла торопливость, с которой купальщицы сдергивали с себя мокрые купальные костюмы и прыгали в махровые халаты, ощущая взгляды китайцев.

Шадрин было прошел равнодушно мимо, но в тот момент, когда он полуотвернулся, прямо на китайцев откуда ни возьмись шагнули решительно три загорелых молодых человека – русских. Каждому было около двадцати четырех.

– Цуба! – крикнул один из них, худенький, в черной майке, с несколько испитым лицом, в котором Шадрин узнал Лукош-

кина. У Лукошкина отец-священник сидел теперь в Соловках, а мать умерла пять лет тому назад. Китайцы переглядывались в злобном замешательстве. Они, может быть, и противостояли бы трем «ламонца», но здоровенная фигура Шадрина, остановившегося шагах в двадцати, смущала их.

– Цуба! – со странным озлоблением вскрикнул Лукошкин и сильно толкнул первого попавшегося китайца. Двое других стояли с готовым на всё видом. Китайцы злобно, но нерешительно зароптали. Один – посмелей – сказал на русско-китайском жаргоне, что никому нет дела, что они, китайцы, здесь стоят, но Лукошкин побагровел и так громко и повелительно крикнул «цуба!», что китайцы, ропща, стали, тем не менее, покорно отходить.

Шадрин пошел дальше. Его твердое лицо кривилось в улыбке. Затем улыбка уступила место странной гримасе, свойственной только ему. Он остановился, приблизился к реке и взглянул на женскую купальню тяжело и пристально.

«Так и есть», – подумал он, отметив небольшую женскую фигуру в красном с белыми полосами костюме, стоявшую по колена в воде. Вот она вытянула вперед руки и зарылась головой в вечернюю, освещенную желтоватым солнцем воду.

– Так и есть, – сказал он вполголоса, – оберегает Варьку от нецеломудренных взоров.

После купанья, дома, он, освеженный, читал последние номера «За индустриализацию», а в десять часов лег спать; и не ворочался, и не вздыхал.

Буквально так же Шадрин вел себя и на другой день, – только на службу запоздал из-за похорон матери. По настоянию старушек мать отпевал станционный священник, несмотря на

свою внушительную осанку, скромный и робеющий. Шадрин на отпевании не присутствовал, – старушки позаботились обо всем...

Мать уже засыпали землей, когда он подошел. Его опозданию никто не удивился – все здесь знают всё друг о друге, все знали шадринские взгляды на старость, проводимые им в жизнь на своей матери.

Было редкое по количеству погод лето... Солнце так и било на людей – на лысину священника, на темные платки старушек, на круглую жестокую голову Шадрина. Он слегка шурился, присматриваясь к рассыпающимся горстям черно-бурой земли, летящим в яму, и полузабытое сиротское – отца он потерял рано – детство предстало ему в обрывках, вместе с грязным отрочеством и всё перебарывающей, ни перед чем не останавливающейся юностью. Внезапно, из детства, в уши ворвался материнский, тогда еще не скрипучий голос: «Игнаша, Игнаша, иди сюда, где это ты бегал?..» – «Откуда это?» – спросил он себя, еще тяжелей пригляделся к летящей черно-бурой земле, скривился и отвел глаза...

Синий безоблачный горизонт отразился в этих глазах. Шадрин захлестнуло ощущение ясности и полнейшей одинокой свободы... Он шел на службу и глубоко дышал.

2

Шадрин был чем-то вроде конторщика, но он руководил местным отделом молодежи и поэтому держался чрезвычайно прочно. Сегодня он решил переговорить с Варей окончательно и сказал курьеру, чтобы тот привел ее в курительную комнату,

где не было никого, «для пятиминутного разговора». Он сел на поцарапанную лакированную скамью и думал, что он ей скажет. Время от времени его лицо становилось еще резче и злее...

«Надо, наконец, убрать Лукошкина!.. Всё равно он никогда окончательно не станет нашим... Жаль только, что запуталась эта девчонка, — славная девчонка...» — углы рта опустились у Шадрина, и губы пообвисли на мгновение...

— Пришла, Игнатий Васильевич, — просунулась голова курьера, и сразу же в комнату вошла Варя. Она была бледнее обычного, но ни одним движением ее лицо не выдавало ее внутреннего состояния, хотя она знала хорошо, что когда Шадрин, после беглых предупреждений при встречах, зовет к себе на разговор — это значит, он делает последнее бесповоротное предупреждение.

Раньше Варя думала, что до этого, может быть, не дойдет, а если и дойдет — что ж, как ни ужасно, придется покориться, потому что мама, Ваня, Митя — их-то уж никак нельзя принести в жертву... Они погибнут, а Вася не погибнет... Так она думала даже в ту еще минуту, когда входила в курительную комнату.

— Товарищ Веснина, — сказал ей Шадрин, медленно вставая, — на этот раз, к глубокому своему сожалению, принужден вам заявить категорически, что дальнейшие ваши встречи с Лукошкиным совершенно невозможны постольку, поскольку они могут вызвать подражание и отсюда — разлагающее влияние на местную советскую молодежь.

Сказав это, Шадрин сделал крупную оплошность. Он сказал не так, как надо было сказать. С Варей он почти всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Она смотрела ему в глаза

что-то слишком уж прямо, как он сам смотрел на людей, но как он не привык, чтобы на него смотрели.

Искорка в глазах Вари вдруг кольнула его. Он хорошо — чересчур хорошо — знал значение этой искорки, она и у него самого вспыхивала часто, очень часто, и тогда он говорил себе одно слово: «бороться...» И после глухо бормотал сквозь вздувшиеся губы: «сдохну, а не сдамся!»

Теперь, по Вариным глазам читая отчасти самого себя, он даже затратил некоторое усилие, чтобы подавить нечто близкое к восторгу. Вот почему еще ледянее и безразличней он добавил:

— Товарищ, я уверен, что всё будет в порядке...

Варя молчала, не отводя от Шадрина глаз. Состояние, недалекое от восторга, причудливо смешалось у Шадрина со смутным мужским вождением. Маленькая, на редкость пропорциональная фигурка это девочки в синей сатиновой косоворотке всколыхнула в Шадрине то, что было полузадушено в нем тяжелой физической и головной работой.

Но он внезапно озлился на себя: «какого дьявола! Что я за большевик, что цацкаюсь со всякой дрянью!..» — и отрезал:

— Это, товарищ, всё! — а сам не мог справиться с мыслью, что Варя-то именно, в большевистском смысле слова, не дрянь, отнюдь не дрянь.

Варя постояла несколько секунд, глаза ее чуть сузились, отчего искорка в них стала почти нестерпимо острой...

И так, не вымолвив ни одного слова, ушла.

...С этой неугасающей искоркой она шла по аллее домой. Навстречу не попадался никто, и Варино лицо разбушевало. Она открывала белые ровные зубы, слегка прикусывая ими

нижнюю губу, и ноздри ее слегка дрожали от каких-то всхлипов – подавленных слез, быть может. «Мерзавец!.. Не позволю так со мной поступать, не позволю!..» – говорила она почти в голос и вдруг удивительно отчетливо поняла, что говорит бессмыслицу... «Что не позволю?..» Две слезы, щекоча скаты ее переносицы, поползли вниз. Она сердито смахнула их и поворотила обратно к парку: идти домой с такими глазами нельзя – надо выплакаться и умыться. Слезам только дай волю, и они не скоро уймονται. Варя уже их не стряхивала. Нарочно сквозь густой кустарник, чтобы никого не встретить, она продиралась к реке, выжидая – когда же слезы, проклятые слезы, наконец иссякнут.

Наконец они стали струиться более скупой и остановились. Осталась некоторая ломота в горле, странно приятно-больно было глотать... Варе открылась река, окаймленная горькой полыньей. Она нагнула лицо к воде, – вода убывала от бездождия и была особенно чистой. Варя осторожно потеряла лицо мягкой водой и вытерлась широким рукавом косоворотки. Без зеркала она знала, что теперь ее лицо почти обычно. Еще раз два сильно, со всхлипом, вздохнув, она оправилась окончательно.

«Однако поздно. Мама заждалась», – бросила Варя взгляд на свои наручные никелевые часики. Часы показывали половину четвертого, а обедали они в три. Но не это приковало Варю к часам, а прямолинейная трещина в стекле. – «Что такое? Или лопнуло опять?..» – Да, часы, починенные всего три дня тому назад, вновь лопнули.

В эту минуту, короткую и нестерпимую, Варе стало не по себе одной, и она бегом заспешила по тропинке. Через четверть часа, дома, мать встретила ее со словами:

– Что ты, Варюшка?.. Я уж начала думать, что ты утонула... Знаю, знаю, что плаваешь как рыба, но всяко бывает, – и Варя сообразила с негодованием, что там, у реки, ей стало внезапно страшно, и так страшно, как до сих пор не бывало никогда.

Весь этот вечер она просидела над книгой, взятой из тамошней библиотеки. Это был сборник статей различных авторов по вопросам физической культуры: очень серьезная книга, начинавшаяся статьей о значении питания в физической культуре и о рационализации питания. Сосредоточенно Варя читать не могла – слова перед глазами проходили пустые, хотя она таким образом сумела прочесть около десятка страниц... Только дойдя до таблицы, перечислявшей питательные продукты с указанием, какие из них имеют сколько витаминов и какие совсем не имеют, Варя нахмурилась: она спохватилась, что из предыдущего ничего не задержалось в голове.

Она перестала читать, хотя книгу оставила перед собой открытой, и ни мать, ни братья не замечали, что ей приходят в голову страшные, темные мысли. Они просто не приглядывались к ней: заметить было легко – и по глазам, и по губам, и по углубившейся морщинке между бровями.

3

Они жили теперь сыто – по утрам бывало масло, а обед состоял из двух блюд. Было время, когда этого не было, и теперь Варя, когда вглядывалась в своих младших братьев (одному было одиннадцать, другому – тринадцать), скорбно отмечала, что под глазами у них еще синяки... «И всё оттого, что года три они питались чаем с хлебом и картошкой», – думала она,

вспоминая несколько прочитанных книг по физической культуре. Да, они пережили трудное время после смерти отца, недоучившегося доктора, человека с тяжелым характером, но умевшего устраивать свои дела... Мать осталась совершенно беспомощной; кроме того, их обворовали, – Варя в то время было семь лет. Детям стало жить холодно, еда ухудшилась, Варя много плакала и думала в то время.

Теперь то время прошло – ужасно о нем и вспомнить! – и только синяки малокровия под глазами братьев напоминают о нем. И мать, и Варя получают теперь вместе пятьдесят пять рублей (Варя – 15, мать – 40), на эти деньги на станции можно иметь пищу даже с витаминами. Но Варя думала не об этом всю ночь напролет (хотя и об этом тоже) – она думала о Шадрине и о том, как он на нее тогда взглянул искоса в курительной: ее передергивало при воспоминании об этом взгляде...

Ночь прошла у нее в этих мыслях.

В самое пекло, в три часа следующего дня, в кухню, где они обедали, вошел Лукошкин. Они уже ели вареное мясо из щей.

– Садитесь, голубчик Вася, – сказала Варина мать с тем скорбным радушием, с каким она неизменно его встречала.

Он сел и, сильно соля мясо, стал есть. Варя сидела рядом и не спускала глаз с эмалированной кастрюли, от которой шел капустный пар. На ее лице как будто не изменилась ни одна жилка, ни одна черта, но Лукошкину оно показалось темным, словно – неведомо откуда – на него легла тень. «Что-то случилось!» – подумал он и сразу догадался – что. Они ждали этого давно...

Обед тянулся тихо и, если б не старший, Ваня, – тяжело... Он, «сознательный не по летам», как отзывался о нем однажды Шадрин, с удовольствием рассказывал про состязания пионеров, вверенных его руководству, хотя он был старше многих из них только на два, на три года. Одно состязание ему особенно нравилось. На землю клали леденец, завернутый в бумагу, и накрывали его глиняным цветочным горшком. Затем пионеру или пионерке завязывали плотно глаза и ставили шагов за десять от горшка с крокетным молотком в руках. Повернувшись один раз вокруг своей оси, он должен был идти к горшку шагов девять, остановиться, замахнуться и разбить молотком горшок. Тот, кому это удавалось, получал леденец, но удавалось редко: пионер с завязанными глазами или избирал неверное направление, или останавливался не вовремя. Остальные неописуемо хохотали, когда он ожесточенно хлопал по земле где-нибудь недалеко от горшка...

Лукошкину хотелось улыбаться. Было так хорошо сидеть и рядом видеть Варю, но она вела себя странно. Она даже улыбалась, но – лучше б она не улыбалась! – улыбка оставалась темной. Это расходились губы, приоткрывались белые зубы, а глаза в этой улыбке не участвовали. Они и отбрасывали темный свет на лицо... «Что-то случилось!» – вторично решил он и знал, знал – что...

Это немного мешало ему есть с удовольствием котлеты с огурцами.

Обед кончился чаем со смородиновым вареньем...

– Мы прогуляемся! – встала вдруг Варя из-за стола как-то порывисто, на нее не похоже.

– Идите, конечно, идите, – сказала мать тем же оттенком голоса, что и – «Садитесь, голубчик Вася».

Минут через пять они шли где-то в кустах, давя полынь и твердые цветки змееголовика. Варя порывисто, как встала из-за стола, остановилась. Здесь скудная, слегка печальная – доброй печалью – природа. Высоко и раскидисто растут только вязы и тополя. Более прихотливые растения никогда не развиваются здесь во всей полноте. Парк состоит исключительно из вязов и тополей, да еще кустиков ивняка у реки... Они были в ивняке. От земли на них веяло сырою прохладой, и нудно пили над ухом комар, не зная, на ком остановиться, подлетавший то к ней, то к нему. Лукошкин выжидательно смотрел прямо в Варины зрачки. У нее сегодня были какие-то бледные глаза.

– Шадрин вчера вызывал меня. Нам уже сегодня нельзя с тобой встречаться, – иначе маму и меня уволят... Нам тогда совсем не на что будет жить.

– Ну? – только вздохнул Лукошкин и стал бледен под загаром.

– Вася... Нам нельзя встречаться, но и не встречаться нельзя. Если мы не будем встречаться, это выйдет, что Шадрин нам запретил.

Имя Шадрина она выговорила с шипением: ей опять вспомнилось, как он ее тогда раздел взглядом.

Лукошкин внутренне заколотился, но стоял спокойно и нарочно медленно, чтобы не показать, что взволнован, протянул вперед руку и сорвал цветок с высокого змееголовика. Варя говорила. Глаза потеряли теперь бледность, губы стали твердыми, но это не мешало им двигаться быстрой обыкновенного

и выговаривать слова ненависти к Шадрину. И чем быстрее она говорила, тем трудней было Лукошкину следовать вниманием за словами, начавшими куда-то от него ускользать и проваливаться. Губы ее, бледные более, чем обычно, приоткрывались, складывались, не соединяясь для него с тем, что она говорила. Они сами по себе, слова сами по себе...

Вдруг он ослаб и покрылся неприятной испариной. Холодные мокрые руки, которые он теперь спрятал за спину, затряслись еще более. Варя говорила страшное...

– Рано... и не надо даже думать об этом, Варя, – улыбнулся он, но улыбки не вышло – тщетно губы силились вылепить ее.

– Я и никогда раньше не думала, но теперь... я думала над этим всю ночь. Хотя, если ты можешь что-нибудь придумать, что ж, придумай, – кольнула она его зрачками почти как врага.

Лукошкин бессильно молчал. Он и вообще-то говорил мало, всегда больше она, даже в их знакомстве сделавшая первый шаг. И теперь он не знал, как сказать то, что чувствовал, а чувствовал он, что она не в себе, и (что ужасней всего!) надолго не в себе, и никакими словами ее не привести в себя.

Правда, ему в голову не приходила одна мысль, которая одна только могла заставить Варю еще пораздумать. Что, если бы, делая горящие глаза и каменное лицо, он сказал: «Варя... я подкараулю Шадрина в парке... Никого не будет поблизости, – и я его застрелю. Может быть, меня засадят, но это лучше, чем то, что ты говоришь».

Но ничего подобного не пришло ему в голову. Он только стал сильнее колотиться и тратил огромные усилия, чтобы

себя не выдать. Сорвать новый цветок змееголовика он уже не решался, – вдруг рука явно затрясется.

Варино лицо маячило немного ниже его глаз, в странных облаках. Светящиеся точки медленно, как комары, плавали в воздухе – признак легкой дурноты... Варя едва заметно, кончиком белых ровных зубов, надела на нижнюю губу: этим она перекусила последнюю ниточку, за которую Лукошкин еще цеплялся.

Он ощутил приступ острой ненависти к себе. «О, ты, баба!.. Учись у нее...» И на ее вопрос: «ты можешь достать револьвер? Помнишь, ты говорил?» – он мотнул головой, придавая этому движению решительность и – страшно подумать! – окончательность.

Но в следующую секунду он почти пошатнулся. Светящиеся точки в глазах размножились необычно и плавали, как медлительные мошки, взад и вперед, возвращаясь каждая неизменно на свое место.

Варя сказала:

– За себя, по крайней мере, я всё решила.

Что-то неповоротливое пыталось неуклюже прыгать в его голове. Варины до сумасшествия близкие черты за роем медленных мошек не шевелились. Он понял, что больше ничего не может быть сделано. Она решила, – конец всему.

«Баба ты!.. Боже, помоги мне держать себя!» – думал он с отчаянием, но молитва, не произнесенная вслух, мало ему помогала. С полминуты он страшился заговорить, – может сорваться, выдать голос. «Держи же себя!» – в отчаянной злобе мысленно прикрикнул он на себя, и – чужим голосом (он звучал в его ушах, как посторонний голос, голос третьего):

– Варя... И я решил, раз ты решила. Как ты этого не хочешь понять? Ты думаешь, что я останусь жить без тебя... Но ведь ты убьешь Ваню, маму, Митю. Или ты о них не думала, Варя?..

Эти слова звучали бледно и невыразительно.

– Я тебе сказала, что думала больше тебя. Но... если тебе ничего, что Шадрин нам уже не позволил встречаться, тогда – как хочешь... – и Лукошкину стало холодно от того, что казалось ему презрительной отчужденностью с ее стороны. Это было для него равносильно смерти. Кроме того, ему показалось – показалось ли? – что она из его глаз выудила словечки: «трусиска, баба», которые он по инерции повторял.

– Я достану револьвер! – сказал он, весь напряжвшись, останавливая на ней ставшие странными глаза: это уже не он смотрел на Варю, а его деды и прадеды, все духовного звания, – смотрели как на зачумленную. Но он был с ней, а не с ними.

В это время затрубил гудок, – пора было идти на завод. Она смотрела на него внимательно, как сыщик на карточку преступника, которого надо запомнить.

– Я сейчас на завод, Варя. Мне пора... – сказал он как-то не к месту и печально-покорно притронулся к ее плечу всё еще прохладной рукой: он хотел еще что-то сказать, но передумал, не решился, и – черный, в несколько минут исхудавший, с нависшими на лоб волосами – исчез, путаясь в полыни и в кустах.

Варя смотрела ему вслед. Она больше не позволит себе плакать, хотя горько пахнет растертой под ногами пылью, и нудно пилит над ухом привязавшийся комар.

Вечером, часов в девять, сам не свой и внутренне совершенно несогласный с Варей, Лукошкин проник в свою комнату в заводском общежитии. «Бедная, милая, она передумает», – смотря в окно, думал он шепотом, а самому хотелось стиснуть виски и бежать безудержно сквозь кусты парка, по поляны, под круглой луной, кричать и разбиваться головой о деревья.

Он сел на кровать, стоявшую под окном, от которого веяло свежестью. В синем окне, в самом центре, остановилась круглая равнодушная луна и так, казалось, застыла. Он полузакрыв лицо рукой и скрючился – авось заснет! – на заплатанной походной кровати. И, наверное, потому, что на минуту он забыл о том, что не заснет, как это иногда бывает, сон слетел к нему или, скорее, навалился на него...

Совершенно необъяснимо и в то же время вполне понятно, – так всегда бывает во сне, – воротилось его детство, хотя он остается взрослым. Вот – седобородый, с большой пролысью и с печальными глазами отец в чесунчовой рясе; вот – маленький деревянный дом в Калужской губернии, с садиком, с малинником, с курятником и разгуливающими курами. Вася и отец стоят почему-то на кухне, у желтого скобленого стола и смотрят друг на друга любовно. Им очень хорошо обоим.

Но это не длится и секунды. В кухню быстро входит странное существо – женщина необычайно маленького роста. Сердце екает у Васи от изумления и испуга при взгляде на нее. Ведь с этим существом, с этой женщиной он несколько дней назад перемигивался в автобусе – да, именно, в автобусе, хотя во времена его детства никаких автобусов еще в Калуге не было.

Он и тогда, в автобусе, считал, что эта женщина – выродок, но есть в ее лице, как тогда, так и сейчас, что-то странно привлекательное. Испуг Васи оправдывается – отец хмурится и недобро глядит то на Васю, то на вошедшую, а затем сурово спрашивает, как смела она войти *сюда*. Он напирает на это слово. Женщина вместо ответа только игриво взглядывает на Васю и затем вызывающе – на отца, точно хочет сказать этим взглядом: «я сама по себе, – дело здесь не во мне, – а вот Вася сильно замешан в моем приходе». И она тихонько хихикает...

«Да это проститутка!» – проносится молния в Васиной голове, и он косится – не в состоянии прямо взглянуть – на отца. А отец уже просто пронизывает его взглядом, и в первые моменты этот взгляд испуганный. Этот испуг в отцовском лице быстро дорастает до ужаса, до такого ужаса, что дальше некуда, и на этом ужас переходит в необузданный гнев. Отец готов на всё, готов растерзать кого угодно, потому что у него – Вася чувствует – мелькнула догадка, что с этой женщиной его сын спутался, и теперь она пришла предъявлять на него свои права.

Трое, они смотрят друг на друга несколько минут не мигая. Наконец Васе невольно это молчание, и он сам глупо попадает впросак, страстно и истощно крича, что нет у него с этой женщиной ничего общего и не было, и, чтобы быть и показаться отцу особенно правдивым, упоминает даже о том перемигивании в автобусе с нею три дня назад. «...Но больше не было ничего, поверь мне, больше не было ничего!» – надрывается он. Отец смотрит тем же сомневающимся, пронизывающим взором. Во взоре, однако, мелькает слабая надежда, и он опускается, приковывается к женщине.

Та хихикает, и ее глаза бегают. Тогда отец прямо и тоскливо обращается к ней:

– Что, было у вас что-нибудь с ним?

Ужас Васи доходит до пределов: – «Это – обычная шантажистка... Конечно, она солжет, что было...»

Но его предположения не сбываются... странно, – женщина перестает хихикать, иное, гордое, почти царственное выражение изменяет ее лицо, когда она четко, полупрезрительно отвечает отцу: – «нет!» – И ни слова.

Новая неожиданность... Отца

<.....>

«Это – папа... что сделала она с папой?» – вскрикивает он и сбегает с веранды, туда, в сад, навстречу лезвию странного оружия – не то секиры, не то ятагана, – но, наталкиваясь на лезвее, чувствует, что совсем не больно, и просыпается с ужасным сердцебиением...

Луна, немного побледневшая, стояла теперь высоко, затмевая мелкие, разбросанные близ нее звезды. Лукошкин присел на постели, поеживаясь, и глядел на неподвижные сучья деревьев. Хотелось рыдать, но привычка, приобретенная еще в десятилетнем возрасте, стискивать слезы, какие бы они ни были, как что-то недостойное мужчины, и теперь брала свое.

Еще часа два до рассвета... Он вновь улегся и закрыл глаза, должно быть, чересчур плотно, так как под черными покровами век замелькали странные фосфорические рожи, словно маски с остроугольными чертами лица. Это было невыносимо. Он опять открыл глаза, примирившись с мыслью, что сегодня больше не заснет, и стал ждать терпеливо заводского утреннего гудка.

И ему вспомнился один вечер прошлого лета, странный вечер, проведенный им, по обыкновению, в парке... Такие же неподвижные стояли деревья с широко расставленными косматыми и узловатыми руками, так же застревал лунный свет в их по-летнему густых макушках. Только кой-где его желтовато-серебряные пятна были, как монеты, разбросаны по земле. На дамбе, заменявшей аллею, было почти темно, хотя веранда Желсоба была озарена электричеством, как обычно по воскресеньям, и станционная знать на ней пила пиво, квас, водку, ела «бевстроганы», как было написано на меню.

Лукошкин, в серых брюках и коричневом пиджаке, гулял по дамбе с тремя своими сослуживцами, его приблизительными сверстниками. Рядом с Лукошкиным шел грек, которого звали Левка, и рассказывал про последнюю охоту. Он уснащал ругательством почти всякое свое слово. Даже когда им попадались на дамбе женские силуэты, он не останавливался и не снижал голоса к удовольствию слегка робевших слушателей, которые отвечали на его громкие ругательства приглушенным смехом.

Никто из них не осмеливался ругаться так громко, чтобы слышали женщины. Только Лукошкин иногда пробовал состязаться с греком, но у него это выходило как-то не смешно... Левка сквернословил, Лукошкин и другие смеялись, – всё было как всегда.

Но в следующий момент, – он помнит, – с ним что-то произошло. Длилось это не более минуты, но оставило след. Им навстречу подвигались две девических фигуры. Одна девушка – ее голос был Лукошкину незнаком – говорила другой самые пустые слова вроде: «она пришла ко мне – я говорю

ей...» Словно кто-то подтолкнул кровь Лукошкина, текшую до той поры вяло, не замедляя и не убустряя своего течения.

Девушки еще не успели миновать их, как Левка выругался новым, изысканным ругательством, подслушанным им недавно у кузнеца.

От приступа внезапной злобы к нему Лукошкин едва не задохнулся. С шипением: «Да что ты ругаешься!» – он толкнул грека так, чтобы тому стало больно. Левка отшатнулся, но сохранил равновесие и сжал кулаки. Из-за темноты никто не заметил изумления в его заблестевших глазах.

– Ты что это? – сердито и негромко спросил он Лукошкина, уже замахиваясь сухощавой, привычной наносить удары рукой.

«Что я, в самом деле!?» – смутился и сам Лукошкин и сказал вслух, зубоскальским тоном:

– А ты чего ругаешься при барышнях?.. Хотя бы постеснялся, Левка. Мне за тебя стыдно.

– Пускай привыкают! – опустил Левка руку, видимо, еще недоумевая, шуткой или вызовом был этот толчок. Остальные захохотали. Так Лукошкин сумел «сохранить лицо»...

В этот же вечер он выбрался в кинематограф, где показывали старинные картины, отстававшие от городских, по крайней мере, лет на пятнадцать...

До начала оставалось несколько минут. Толпа человек в двадцать тискалась у кассы. Зайдя сбоку, он через минуту уже клал рваный, сморщенный полтинник на подоконник кассы.

«Вам один?» – послышался голос новой кассирши, которую он еще не видел, но о которой ему передавали: «хорошенькая!» Дрожь мурашками разбежалась по его спине, он почти испуган-

но наклонился к окошечку и увидел, что перед ним была *она*. Потом оказалось, что ее зовут Варей...

Это лицо было чистое, смуглое, окутанное плотными прядями темных волос, с остро смотревшими глазами и с губами, сложенными внимательно. Чистый правильный лоб чуть-чуть хмурился, еще не успевшая прорезать кожу «умная» складка намечалась между бровями, и впоследствии – доживи Варя до старости – эта складка образовала бы некрасивую пористую припухлость посреди двух резких морщин. Несмотря на твердость его выражения, молодое, почти детское, это лицо весь вечер сначала вытесняло из Васиного зрения Лию-де-Путти, вампирствовавшую в зигзагах мигающего света на грязноватом полотне, а потом, ночью, в его комнате, плавало большими светлыми кругами над его походной кроватью...

Всю ту ночь он не заснул, и не кровать, начавшая рваться по бокам и проваливаться, была причиной бессонницы, а это крутящееся светлое лицо, которое лишь с наступлением рассвета стало меркнуть и выцветать, оставив после себя тоскливое, недоуменное ожидание.

Та ночь очень походила на сегодняшнюю. Только сегодня он забылся, как только лег, а тогда он забылся к утру, но как тогда, так и теперь он видел отца... Отец стоял тогда над ним в своей чесучовой рясе, с крестиком на плоской, как бы расплюснутой под колесами паровоза цепочке, седобородый, с печальными глазами, и говорил: – «проснись, пора же, Вася!» – «Правда, пора...» – подумалось Васе, и, когда он проснулся, гудел утренний гудок.

Эти воспоминания еще более или менее ясно представляли перед ним, но голова мало-помалу тяжелела, и связность утра-

чивалась... Фосфорические рожи обнаглели, прыгали вокруг Вариного лица, которое стояло у него в глазах точно таким, каким оно было вчера за обедом.

Кажется, светало. Он вновь открыл глаза... Луна с сероватыми щербатинами бледнела теперь где-то необычайно высоко. Звезд не было, кроме одной блестящей крупной звездочки в верхнем просвете окна, одной-единственной, но и она, несмотря на ее трогательное мягкое сияние, не утишала, не утоляла нестерпимой боли, заставлявшей его крепче сжимать губы. И, если прежде сжатые губы придавали ему решительный, даже задорный вид, теперь, по мере роста рассвета, серовато-ложившегося на лицо, оно приобрело покорное, обреченное выражение... Звездочка незаметно исчезла.

*

Варя тоже не спала всю ночь. До часу или двух она работала над отчетом по кассе, закончила его и так и не легла спать. Она сидела, локти – на подоконнике, щеки – опершись о ладони, – и шептала, разжигала себя... «Шадрин...» – время от времени произносила она и, спохватившись, – не слишком ли громко, – оглядывалась на прикрытую дверь своей маленькой комнатушки. «Он содрогнется, он должен содрогнуться», – и она воображала лицо Шадрина бледным, землистым, испуганным.

Только под утро она вызвала иное лицо... «Вася!» – губы ее стали мягкими. Она помнит, как в первый раз рассмотрела его тщательно в поезде, когда они случайно ехали в город в одном вагоне, друг против друга. Теперь ей девятнадцать, тогда было восемнадцать, но она уже успела насмотреться на

фатов, веселых самцов, дон-Жуанов разного рода. Она умела распознавать их, чуть ли не с первого взгляда.

Но что такое этот мальчик, что сидит напротив, черноватый, со стиснутыми губами, с мягким светом в темных глазах?

Он – взрослый, почти мужчина, однако – присмотреться к нему – потупил взор, побагровел сквозь смуглоту (здесь все смуглые на станции), и а глазах только-только не выступили слезы. – Вот – она это всё видит! – он пересилил себя, взглянул на нее исподлобья. В этом взгляде для нее ясно сказано, что он – один среди товарищей, мало думающих, поющих: «рви цветы, пока цветут, – пройдут золотые дни; а не сорвешь, так сам поймешь – завянут все цветы». Что он застенчив и не рвет этих цветов. Что сейчас в его худой, но крепкой груди колотится сердце, колотится так, что чуть не выскочит. Что он не выспался, потому что окружены красной каемкой неуверенно смотрящие, часто мигающие глаза. Что он напуган ею, противостоящей, именно потому, что она ему нравится...

На секунду ей самой стало неловко далее разгадывать его, и она опустила веки, чуть-чуть задышавшись. Но достаточно было слова «чепуха», имевшего на нее волшебное действие, чтобы вполне успокоиться. Она стала думать о привычных делах и минут через пять, взглянув в окошко, просто спросила его:

– Скажите, пожалуйста, какая это станция?

После этого вопроса им обоим выяснилось, что говорить, оказывается, невероятно легко. Слова сами приходят, и не беда, если они не придут, – молчать тоже легко! Так началось их знакомство, и вот нынче к чему оно пришло...

Одна слезинка звездчатым блеском засияла на ее щеке. Варя сбросила ее, сказала: «чепуха», и пошла умываться. Лоп-

нувшие часы показывали шесть, только на несколько секунд не совпадая с гудком.

5

В воскресенье предвиделось хорошее гулянье. Дневные облака порассеялись. Появились первые парочки...

Он и она пошли сначала по большой, усыпанной гравием аллее, но, дойдя до узенькой тропинки, ведущей в заросли вяза и высокой, иногда полуторааршинной полыни, свернули туда. Так они достигли старого тополя, почти не говоря ни слова. Ни разу ни он, ни она не засмеялись, не улыкнулись.

Мимо, по тропинке, промчалась веснушчатая девочка, стриженная под машинку, со восторженными, выгоревшими на солнце волосами. Ее, запыхавшись, преследовала другая, и эта другая кивнула сидящим. Но ни словом, ни жестом они не выказали, что заметили ее кивок.

Далеко в парке три или четыре девических голоса, не совсем в лад, пели входивший в моду романс, где самыми плоскими словами говорилось о вечной силе любви. Кто-то еще прошел мимо, взглянув на них с откровенным любопытством.

Тогда он и она пересели, и куда! – на землю, прямо под старый тополь, плечо к плечу, облокачиваясь о широкий, покрытый изуродованной корой ствол. Неподалеку раз двадцать кукушка произнесла: ку-ку, ку-ку... В Желсобе налаживали электролу, слышалось начало марша «Под двуглавым орлом», переименованного нынешней администрацией в «Красное знамя».

Она, не поворачиваясь к нему, вдруг заплакала – очень тихо, очень горько.

Секунд через двадцать совсем близко от железнодорожного собрания, под старым тополем, прозвучало два револьверных выстрела...

Скоро под тополем собралась большая толпа. Он стоял высокий, раскидистый, неподвижный, – только его верхние, любующиеся небом ветки иногда тихо и как-то тревожно вздрагивали. От испуга у всех людей были смущенные лица.

На левом боку лежала девушка, очень миниатюрная, но прекрасно сложенная. Молодой человек еще сидел, облокачиваясь о ее колени. У него был прострелен висок, – он хрипел и покачивался... Все знали, что это Лукошкин и Веснина.

Двое мужчин из толпы схватили Лукошкина за плечи и за ноги и понесли. «Доктора, доктора!» – завизжали женщины. Доктор, задыхаясь, уже спешил навстречу. Лукошкина внесли в амбулаторию. Шла кровь из обожженной трещины в кости, он содрогался, лицо землилось; но несколько женщин, преследовавших в амбулаторию, смотрели на него неприязненно, даже злобно, потому что Варя Веснина, убитая не кем иным, как Лукошкиным, валялась там, в парке, и ее до завершения следствия нельзя было трогать.

Лукошкин жил около часа. Многие – с ужасом за него – думали, что он выживет... Что, как тогда?.. Но он, к счастью, не выжил: хрип и дерганье останавливались, и злобные взгляды женщин медленно потухали, по мере того как тело на амбулаторном диване становилось мертвым телом. «Кончился!» – прошептала какая-то женщина деревенского обличья. Доктор смотрел сначала на труп пытливо и беспомощно, но, заслышав шепот, он быстро оглянулся на женщин, и – «совсем деревня, совсем как Россия!» – подумал он.

В половине шестого в приемную вошел Шадрин. Он, видно, шел купаться – махровое полотенце висело у него на плече. От бледности его смуглое лицо казалось мышинного цвета. Еще минуту назад он ничего не знал и шел к реке, но навстречу ему попала дочка доктора, Лена, с заплаканным лицом, и Шадрина удивило то, что она так прямо, плача, шла на него, не отводя от него слегка косящего взора.

– Что ты, Лена?.. Или нашла? – спросил Шадрин: он умел быть ласковым с молодостью.

– Вася и Варя застрелились... Васю принесли к нам, а Варя там, в парке... – протянула она своим уже женственным, несмотря на то, что ей было всего четырнадцать лет, голосом.

Удивительно: Шадрин вздрогнул и побледнел.

– Так Вася здесь? – спросил он и вошел в амбулаторию, где женщины спрашивали у доктора, что было написано в записке, найденной при Лукошкине, которую доктор запер в шкаф, говоря, что это не его дело. Шадрин помялся, повздыхал около неприязненно настроенного против него доктора. Ему ужасно хотелось тоже спросить, написали ли самоубийцы стереотипное: «прошу никого не винить», или оставили что-либо более самобытное, но он не осмелился – Шадрин *не осмелился*.

Шаркающей походкой, не свойственной обычно ему, он побрел к старому тополи, у которого толпа уже начала редеть по сравнению с первым наплывом. По совету одной женщины младший Варин брат, Митя, сбегал домой – принести простыню. Он украдкой копался в комод в спальне, а в столовой стонущая мать сидела как в столбняке с соседкою, рыхлой и спокойной, которая говорила: «Все мы, никто не застрахован от несчастья. Вот у меня...» – и рассказывала что-то свое.

Митя прибежал к дереву с простыней. Ваня накрыл ею Варю, стараясь не коснуться ее пальцами, которые сильно дрожали.

Подошел Шадрин и внимательно взглянул на Ваню, «сознательного не по летам», который – худенький, загорелый – трудно сдерживал перекатывавшийся в горле, никак не проглатываемый клубок.

С минуту Шадрин стоял неподвижно. Он не знал, как ему вести себя. Но годы умственной и физической тренировки взяли свое: «что я стою!» – зашипел он на себя и повторил тихо вслух, подойдя к Мите:

– Что стоять, Митя?.. Ночью надо будет караулить сестры. Идем – принесем фонарь и всё, что надо, а Ваня останется...

Ваня только еще больше нагнул опущенную голову.

Скоро они возвратились с огромным газовым фонарем. Надо было его привязать и наладить. Шадрин, ставший деловитым и распорядительным, приказал Мите вскарабкаться на тополь и прикрепить фонарь веревкой к самой толстой ветке. Сам возился над фонарем с помощью молодого лысеющего электротехника. Фонарь не налаживался, в нем всё полыхало странное, синее, как угарный огонек, пламя, и люди стали сторониться, опасаясь, что фонарь взорвется. Но он не взорвался, а вспыхнул ярким пламенем и, как маленькое ночное солнце, осветил заросли. На него с яростью набросились ночные бабочки, мошки; громко, как мелкие камешки, зашлепались медведки, падая и ползая по белой простыне, покрывавшей Варю.

Воскресное гулянье было испорчено. На дамбе стояла тишина. В кирпичных казенных домиках зажигались огни, и

вокруг столов люди обсуждали с разных сторон самоубийство Вари и Васи...

Шадрин в своей комнате спал хуже, чем обычно: во-первых, самоубийство взволновало его все-таки; во-вторых, он сегодня так и не выкупался. Ему думалось против воли... Особенно он удивлялся, что Лукошкин застрелил Варю. «Страшно, страшно не похоже на этого мальчишку!...»

6

Советская администрация железной дороги взяла на себя устройство похорон.

Было тихое, необычно ясное, располагающее к бодрости утро. Из города прибыл духовой оркестр из пятнадцати человек сквернословящих музыкантов. Они были отмольцы, и Шадрин вызвался быть их гидом к купальне. Он выспался и чувствовал себя свежо... Не жалея белых, надетых ради случая брюк, он быстро шагал с ними по глухой, заросшей тропинке сквозь траву, и манжеты брюк немного позеленели. Музыканты раздевались, открывая солнечным косым лучам проникотиненные и проалкоголенные тела. Шадрин не купался – не хотелось раздеваться, да и время не терпело, – и рассматривал их с безотчетной брезгливостью. Ему было не совсем приятно, что они – отмольцы: все станционные отмольцы прежде всего были здоровы и красивы телом.

Грубо хохоча и шурша сопротивляющейся водой, музыканты испытывали истинное удовольствие, и с ними – Шадрин. Он громко и холодно засмеялся, когда на музыкантов, выходящих из воды, стали набрасываться зеленые жужжащие грозно

овода, прилепляясь плотно к их покрытым капельками воды телам. Музыканты с испуганностью горожан сбивали оводов у себя и у других, обращая к насекомым самые разнообразные ругательства.

Шадрин, называвший музыкантов «ребята», спросил их, хотят ли они «кушать сейчас или уже после похорон – с большим аппетитом, не торопясь и не давясь. Они согласились, немного помявшись, на второе.

Вся станция уже толпилась у амбулатории: разговаривали, улыбались, но прилично, негромко. Общественное мнение в таких случаях предписывает соблюдать строгую грусть.

Музыканты вскинули вверх отливавшие золотом инструменты, и раздался похоронный марш. Тут лица у всех по-настоящему потемнели, потому что ничто не предостерегает «помни о смерти» так хорошо, как это делает обыкновенный – даже не шопеновский – похоронный марш. Перед ним бессильны и человеческие слова, и могильные памятники, и кровавые сцены.

Над маленьким станционным кладбищем с тесно расположенными, не оправленными в камень, запущенными могилами помахивали тихонько макушками неизменные вязы и тополя. Зелень вершинных листьев отливала золотом, а внизу было тенисто, сыровато. Земля никогда по-настоящему не просыхала, и странным запахом – «земля, и в землю отыдеси» – веяло от деревянных истлевающих крестов да от бордовых кольев над могилами покойников, похороненных по-граждански.

Серьезная, темная, несмотря на яркий день, процессия приблизилась к свежей яме, вырытой на двоих.

Варю несли впереди. Она почти не изменилась: ранение было навывлет и не раздробило кости. Виски обмыли и прикрыли волосами. Несколько отмольцев робко, боязливо несли ее красный гроб, но одета она была, по странности, как невеста, в фату. Белый гроб Лукошкина несли его сослуживцы, с ужасом иногда посматривая на его исковерканное лицо. На нем был белый, сшитый недавно из последних денег парусиновый костюм.

По Лукошкине никто не плакал вслух – у него здесь не было родственников, – но мать Вари громко, иссушающе рыдала, наводя на людей страх и тоску. Ваня и Митя заволакивали землю грубыми новыми башмаками, ежеминутно спотыкаясь, хотя ни один из них не отводил глаз от земли. Их подбородки упирались в грудь – они теперь, действительно, казались худыми и малокровными, – но ни слезинки не вырвалось ни у того, ни у другого. Только когда один раз плач матери сорвался и замер на очень высокой ноте, у Вани покривилось лицо, а младший, Митя, не то икнул, не то фыркнул, из последних сил сдвигая то, что намеревалось самовольно выпрыгнуть у него из груди. Старший на него покосился и еще крепче прижал к груди подбородок, несколько минут не отрывая глаз от своих пропыленных ботинок.

Один отмолец, лет двадцати четырех, сказал надгробное слово о Варе. Он покраснел от напряжения и говорил мыча, заикаясь и коснея. Говорил еще кое-кто постарше и, наконец, говорил Шадрин. Он назвал Варю энергичной девочкой и особо выделил то, что она перед своим страшным неразумным решением сдала всю отчетность по кассе желсоба, чтобы никому не доставлять хлопот на этой земле. Сочувственно он описал и

Лукошкина, обходя политическое положение последнего. Он не хитрил, Шадрин, – он говорил не о Лукошкине, а о молодости вообще, – стало быть, правдиво. Только конец он смял, как и все, кто говорил, сорвавшись в казенщину:

– Да, они порвали с жизнью, которая есть борьба, борьба во что бы то ни стало, но мы, мы не последуем их примеру... Это не выход!

Впрочем, ему это, может быть, не было казенщиной...

Многие взглядывали на него с ненавистью... «Сам, мерзавец, до чего довел, а теперь разглагольствует», – шептали пожилые женщины и упоминали что-то о старухе-матери Шадрина.

Был для них еще один неприятный момент, когда у Вариного изголовья ставили красный кол. Старушек до озноба покорило это обстоятельство. Доктор, недавно презрительно пролиставший «12» Блока, которого он считал советским поэтом, посмотрел на массивный красный брус и сощурился: «Эх, эх, без креста!..»

Зато над Лукошкиным поставили крест, и вскоре общая могила сровнялась с землей. Мать не переставала рыдать.

Время клонилось к обеду... Воробье нерешительно начали чирикать на деревьях, музыканты с опущенными инструментами вели себя беспокойно, перешептывались, и стоящие поблизости улавливали слово: «жрать, жрать», повторяемое на разные лады. Под влиянием свежего воздуха и прогулки по кладбищу всем хотелось того же, но вслух об этом говорили только музыканты, которым всё было на этой станции чуждо и безразлично...

Наконец стали расходиться. Доктор тихо шел за группой старушек, саркастически-печально наблюдал за ними и шептал: «совсем деревня, совсем как Россия», а старушки, действительно деревенского обличья, возмущались, отчего их собранные в складки лица делались злыми... Они негодовали, что кол и крест воткнуты в одну и ту же могилу – *кол и крест*...

7

Сверстники Лукошкина ничем не выделяли его, пока он жил, но теперь воспоминания о нем вызывали полувосторженное удивление: в самом деле, «убил любимого человека... потом себя!...» Каждый невольно подставлял себя на его место и чувствовал, что Лукошкин сделал пока непосильную для них вещь... Грек, которого Лукошкин тогда ни с того ни с сего толкнул, обмолвился, что самоубийство было решено за день, за два...

Некоторые ожесточенно возражали:

– Ты не знаешь... Помнишь, Лукошкин накупил раз много – сотни три – папирос и угощал китайцев на заводе. Это было два месяца тому назад. Он давно ходил странный.

Янек, полячок, только начинающий мужать, но начитанный более остальных, сказал, что перед смертью, вероятно, Лукошкину в несколько секунд вспомнилась вся его жизнь.

Это тоже приняли близко к сердцу:

– Какого там черта будет человек вспоминать свою жизнь, когда ему надо застрелить любимого человека!

Грек внезапно поднял вопрос, имел ли Лукошкин Варю перед смертью, но кто-то слышал, что Варя оставила своей

матери записку, где писала: «Мама, между мной и Васей никакой грязи не было».

– Нет, нет! – отвергли все.

Спор зашел о силе воли – обладал ли ею Лукошкин. Одни говорили: «да, больше, чем всякий из нас»; а другие утверждали, что он не смог больше бороться, что жить гораздо трудней, чем умереть, и поэтому Лукошкин безволен. Но опять схватились за то, что нелегко убить любимого человека.

Они сидели на скамеечке в парке и говорили громко. Шадрин с полотенцем, перекинутым через плечо, возвращался с купанья. Его скрывали от них кусты, и он слышал конец их разговора. Опять на него напала задумчивость. Суровое недоумение вновь – время от времени – меняло его малоподвижное лицо.

– Все-таки непохоже на этого мальчишку! – опять и опять сомневался он.

И Шадрин был прав в своих сомнениях...

...Когда Варя и Вася, обнявшись, сели у тополя, они оба думали с отчетливостью, что в последний раз смотрят друг на друга. Но Варя не смотрела на Лукошкина. Словно чего-то страшась, она сидела повернутая к нему в профиль и только боковым зрением улавливала неясные, но такие знакомые очертания его загорелого и непобритого сегодня лица, с волосами, покрывавшими лоб.

Лукошкин тоже не прямо, а искоса – точно не смотрел на нее, а шпионил за ней – видел ее засмуглевший локоть с круглой темной на нем ямкой, кожу, от которой шло тепло, выложенную солнцем на шее и на слегка впавших за последние дни щеках.

Варя полузакрыла глаза... Она подумала о том, что она сделает через минуту, и стиснула зубы. *Только минута*, только счет до шестидесяти... Но секунды, казалось, расширились, потому что веские, медленные мысли умещались в них. Там был и холод существования на поверхности этой земли, и безразличная, тупая, но всё же явная ненависть к человеческим существам – ко всем, ко всем, без исключения!.. Но нет, – Варя сильнее покосилась на опустившийся профиль Васи, и что-то иное, чем ненависть, правда, исходившее от него, захлестнуло ее. Это была волна, это было как бы облако, окружавшее их и старый тополь, под которым они сидели.

И ни с того ни с сего всплыло лицо ее матери, изрисованное глубокими уже морщинами, и еще – материнские шершавые, заскорузлые руки, прикосновение которых к Вариним щекам всегда слегка царапало кожу. И, однако, кто мог погладить ласковее, чем мать? Ее сильно ввалившиеся щеки возникли вдруг перед Варей так отчетливо и так раздельно, что Варя на секунду позабыла о своем ближайшем намерении. И тогда-то она заплакала.

Облако как будто стало меньше, образ матери отлетел, показались – братья, – Ваня и Митя, – их маленькие лица (здесь Варя заплакала еще горше, но – облако совсем исчезло!), из-за Вани и Мити уже выглядывал Шадрин своим немного азиатским взором, а за ним толпа лиц станционных знакомых, среди которых даже Шадрин стал стушевываться. Только имя его, короткое, странное – «Шадрин!» – ненавистно отозвалось еще раз в ее голове.

В следующий момент всё смолкло внутри ее и вне ее.

Правая Варина рука, от которой к Лукошкину исходило тепло, висела безвольно у бедра, но пальцы, круглые, крепкие, не выпускали синеватого металлического куска, имевшего назначение – убрать огромную тяжесть, что накопилась за последние чудовищные дни. Рука стала медленно подниматься, точно чья-то чужая рука, – в этот момент неожиданным страшным холодом повеяло от нее на Лукошкина, – но подымалась она со странною легкостью, точно подымаемая постороннею злою волей.

Лукошкин холодными загорелыми трясущимися пальцами притронулся к ее локтю. Рука не остановилась в своем подъеме, неся кусок металла, хитроумно приготовленного людьми в угоду смерти, к виску...

Лукошкин еще, пожалуй, не вполне верил в то, что произойдет, неминуемо должно произойти в следующие пять-шесть секунд. Он даже удивленно словил себя на том, что полушепотом бессмысленно считает: «один, два, три...» – рассматривает переползающего через шнурок его ботинка коричневого жучка, только что слетевшего на запыленный ботинок с ветки, с еще не успевшими спрятаться прозрачноватыми подкрыльями. Эти подкрылья медленно, чуть заметно, как минутная стрелка, втягивались под твердые шоколадного цвета крылья, и приблизительно в тот миг, когда подкрылья окончательно исчезли под глянцевыми шоколадными пластинками, Лукошкина оглушило сбоку, а Варя стала отдаляться от него – совсем, навсегда! – клонясь на левую сторону.

Он сидел, оглушенный и обледенелый, точно не было июня, а был январь, точно комары и мошки не носились в

травинках у его ног, точно жучок на его ноге не был жив... Но – «Боже, скорее, скорее!» – сказал он с усилием, как если бы проглатывал кусок, становившиеся всё время поперек горла, и торопился, выдергивая – и остервенело, и осторожно в то же время – револьвер из скрючившихся, еще тепловатых Вариных пальцев. Но синий шнурок, прикрепленный к револьверу, перекрутился раз вокруг ее согнутого маленького мизинца. В беспамятстве почти, только быстро, быстро, точно упражнялся в скороговорке, шепча: «Боже, скорее, скорее!» – Вася отцеплял шнурок. Это удалось ему в несколько секунд, но секунды казались широкими, тяжелыми, расплывчатыми, вероятно потому, что с ним не было уже Вари, – это значило, что ее не было нигде...

И тогда – с ужасающим нетерпением, рукою полуютнявшейся и ледяной, Лукошкин не поднес, а как-то подбросил к голове револьвер и неслушающимся пальцем нажал спуск. Но прежде чем он достиг цели, палец бессильно вздрагивал целых полторы секунды, пока второй выстрел гулко отдался в глухих уголках парка.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

МИР

В. С. Яновский. «ПАРАБОЛА», Берлин. 1931

Говорят, автор – выходец из Советской России... Во всяком случае, в отличие от прочих молодых парижских авторов книга Яновского вся соткана из русских влияний. Ничего французского, ни на иоту прустизма...

В описаниях природы кое-где звучит Бунин: «Деревья в миллионный раз меняли уборы и монотонно выбрасывали недоконченные формы: зеленые почки, влажные листья, цветы. Ночью в садах глухие шорохи выдавали чей-то спешный труд, – ненужным узором, старинным орнаментом отделялись растения». Зато как контрастирует с подобными описаниями эта книга в остальном. Следы Бунина, видимо, только остатки литературной выучки, внешнего лоска. Подлинные учителя у Яновского иные! Достоевский, разумеется, эпилептическая тень которого висит над людьми этой книги, спорящими о Боге и космосе. Леонид Андреев с его вечною думкой о смерти присутствует тут. В одном месте, например, Шелехов «собирает внутреннюю силу» воскресить мертвых, совсем à la Василий Фивейский. Порнографические моменты, которыми, говоря к слову, изобилует книга, выписаны местами под Андреева.

Но здесь более явно влияние другого автора, попутчика, что, опять-таки, поражает в эмигрантском молодом писателе. «И ночь пришла парная, влажная. Потной бабой разметалась земля. Как сорокалетняя дева, которая ждет, чтобы с нее впервые содрали одежды». Не разительно ли совпадает эта цитата со следующей цитатой из Пильняка: «Под ночью – раскорякою – пьяная, потная, подлая, дебелая, валялась баба Рязань»?

Напрасно искать что-нибудь светлое в этой книге, какую-нибудь, хоть захудалую, окрыленность. «Разве вам не кажется, что здесь, здесь... – сердито хлопал доктор себя по лопаткам. – Здесь у человека место для крыльев? – Нет. Думаю, что под этим местом, при неблагоприятном стечении обстоятельств, скопляются Коховские палочки». По существу, все люди романа заняты только констатированием присутствия бацилл, вероятно, чтобы приспособиться к ним, забывая, что лучшее против бацилл средство менее думать об их существовании.

Людей в романе много. Всех в краткой заметке не охарактеризуешь. Зато есть в романе два представителя животного мира: кобель и кот, и, наверно, процитировав места относительно их, мы найдем сжатую общую характеристику людей, населяющих роман. «Глаза кобеля блестели загнанным, озлобленным блеском, отшельническим, ненавидящим огнем. Он осторожно повернулся, изогнувшись всем телом, – прикрывая, охраняя больное место, – и вполз под темное крыльцо». «На низкой железной печурке лежал черный тощий кот, злобно желтея одиноким глазом. Его спина в шрамах и полосах; левый глаз вытек; усы и мех повылезли. Весь его мрачный и ожесточенный вид повествовал о невероятно тяжелой, безрадостной жизни, полной горестей, забот и унижений». Эти две характеристики

полностью применимы к людям романа, который читаешь, как приговор над всей эмиграцией, хотя утешаешь себя тем, что написан он человеком ушибленным и ущемленным.

Уходишь от романа только с одним иллюзорно утешительным выводом о живучести людей, ухитряющихся существовать даже при таких физических и психических условиях, созданных автором этой нужной, своевременной, но почти отталкивающей, книги.

О ДЕТЕКТИВНЫХ РОМАНАХ

В кругах узко литературных клеймят неизбывным презрением тот сорт писателей, который хорошо охарактеризовать выражением «коммерция от литературы».

Первое место среди этих литературных коммерсантов занимают, конечно, детективные писатели. Они наживают себе состояние, – возьмите Уоллеса, Оппенгейма, или японского детективиста, Эдогава Рампо. Смешно, – но факт: это самые влиятельные теперь писатели, хотя их творческие усилия минимальны.

Положение следующее: художественная критика и рафинированные литературные круги пренебрегают коммерсантами от литературы, но в библиотеках они нарасхват, в магазинах их покупают, и депрессия не действует, – и говорят: человек нынче устал, стремится забыться от нудной действительности...

Разумеется, это положение сугубо отвратительно, но кто здесь виноват? Не художественная ли критика, не рафинированные ли литераторы? Вероятно, – да!

Пора серьезней пересмотреть вопрос о детективных романах. Ведь, скорее всего, потребность в них возникла вследствие почти полного отсутствия за последнее время произведений художественных и, вместе с тем, внешне занимательных.

Занимательностью современные писатели пренебрегают: они пишут не романы, не рассказы, а какие-то плохо спаянные фрагменты, лирические по большей части... Вполне естественно, что стал ощущаться пробел, который и поспешили восполнить пресловутые коммерсанты от литературы с присущей им предприимчивостью... И пошли, и пошли «кровавые призра-

ки», «таинственные убийства» да мерзостные «черные руки». А художники слова совместно с серьезными критиками смотрят недоуменно, как растет тираж у их злейших соперников.

Как выйти из этого тупика? – Конечно, только так...

Начать перестраиваться психологически, будить в себе закосневшую коммерческую жилку. Присмотреться к Пушкину, – так даже странно становится: он был больше коммерсант, чем нынешние художники слова, хотя время было не такое коммерческое, как наше. А Достоевский, который всегда остро присматривался к бульварным писателям типа Эжена Сю, потому что хотел, чтобы его романы помимо внутренней ценности обладали внешней занимательностью! Разве от этого потеряли его романы в глубине?

Нет, никогда не взойдет в русской действительности новый великий писатель, пока торжествует с одной стороны беспочвенное презрение к детективным романам, и с другой слепое увлечение фабулярностью, как таковой, как целью.

Да, детективные романы – самое позорное порождение нашего времени, но на плечах подлинных художников слова и серьезной критики лежит добрая половина этого позора.

О МАРИАННЕ КОЛОСОВОЙ

Нет во всей эмигрантской художественной литературе явления более действенного, чем ее творчество! Но надо оговориться – в каком смысле действенного...

Вот новая книга стихов с энергичским заглавием: «Не покорюсь!...», пронизанная боевыми лозунгами и призывами эмиграции к подпольной и открытой борьбе против теперешней власти в России. Расценив книгу с этой стороны, не стоило бы даже писать о ней в литературной газете, если б Марианна Колосова не проявила себя за эти годы довольно выработавшимся мастером стиха. Несомненно, ею должна гордиться боевая часть дальневосточной русской эмиграции, которая, кроме Колосовой, не выдвинула из своей среды не то что поэта, но и грамотного стихотворца. Марианна Колосова в курсе современных формальных достижений: прекрасна и точна рифмовка, выразительны и разнообразны ритмы, начиная от Кольцовских трехстопных хореев с женскими окончаниями, кончая проникновенными тяжкими ямбами, особенно пятистопным. Всё подточено, подчищено до приятной (изредка неприятной) гладкости.

Но это внешняя, так сказать, агитационная действенность... Другой, подлинно художественной действенности, к сожалению, стихи большею частью лишены. Есть термин: «лирический фельетон», придуманный Н. Асеевым для сорта стихов, которыми поэт прямолинейно откликается на злободневное событие, чтобы не испытывать тяжести отрыва от жизни (удел современного поэта), идти с современностью в ногу. Марианна Колосова в этом отношении счастлива: ее

стихотворения, в большинстве, – лирические фельетоны, она идет в ногу с эмиграцией, и, пожалуй, ее личная трагедия – в то же время трагедия всех эмигрантов, так или иначе стремящихся найти Россию.

Талант Колосовой приводится в движение внешним: злобой дня. Слишком много воли рассудка, сознательности, слишком много головного: как спасти Россию? И – ответ действительностью!

Тут Колосова впадает в глубокое заблуждение, сознательно приспособляя творческие силы к чисто практическим целям. Ныне почти вся советская литература – только на другой политической платформе – разделяет это заблуждение. Только там воспевают темпы строительного плана, а здесь – темпы спасения России.

Где-то давно печаталось стихотворение Колосовой, заканчивавшееся словами девушки к человеку, которого она любит:

...Ведь я русская, – понимаешь? – русская!
Как ты смел полюбить эстонку?

Думается, что в тех строках поболее национальной скорби, чем в ряде хорошо, даже одушевленно, сработанных фельетонов, вроде «Задачи», «Санкт-Петербурга» и прочих, потому что создала их не злоба дня, а сознание творческой необходимости.

Не надо далеко идти за примером! Книга заканчивается циклом «Огни». Здесь меньше фанатической воли, больше мольбы, больше того, что Пастернак определил следующими словами:

И чем случайней, тем верней
Слагаются стихи навзрыд!

поэтому стихи этого цикла близятся к подлинному искусству, которое прошибает, правда, не сразу, но которое незаметно вгрызается в душу. Я говорю особенно о стихотворении «Дома». Оно лишено подхлестывающих призывов, но оно активнее, т. к. проще и правдивее говорит о человеке, чем стихи первой половины книги. Над теми думаешь с уважением: они сыграют роль в грядущем освободительном движении, преклоняешься перед целеустремленностью автора, но их не принимает душа!

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ЛЕРМОНТОВА

Еще не начав заново перечитывать Лермонтова, я пытался вернуться памятью к тем дням, когда я впервые ознакомился с классиками. Хотя это было так давно, я все-таки помню впечатление от Л. Нечего говорить, что оно было значительно... Отдельные строфы врывались в память, преследовали особенно навязчиво; например, эта:

И ниц упал испуганный народ...
«Молитесь, дети, – это смех шайтана».
Сказал мулла таинственно, и вот,
Какой-то темный стих из Алкорана
Запел он громко.

До слез потрясла строфа:

Поутру, толпяся, народ изумленный
Кричал и шептал об одном;
Там в доме был русский кинжалом пронзенный,
И женщины труп под окном.

Стихотворение «Сидел рыбак веселый на берегу реки» – первое стихотворение, подействовавшее на меня особою музыкой.

Позднее в третьем, четвертом классе среднеучебного заведения выбили во мне огромный, незаживающий след те вещи Л., которые обыкновенно производят впечатление на гимназистов этого возраста. Разумеется, здесь было: «И скучно,

и грустно, и некому руку подать», которое я и теперь считаю лучшим стихотворением Л., хотя мода на него проходит, и особенно «Выхожу один я на дорогу». Из поэм выделялись «Мцыри» и «Песня про купца Калашникова».

Стихи поэта почти всегда срastaются с его земным обликом, поэтому перед теперешним перечитыванием Л. я долго вглядывался в портрет этого человека, одетого по-военному, с лицом каким-то восковым и с мертво опущенными, как бы свинцовыми веками. Я так давно не возвращался к нему мыслями, что мне начинало казаться, что что-то новое забрезжит мне в его поэзии, что теперь, в более зрелом возрасте, мне станет понятна его неповторимая красота и значительность.

Я так внимательно останавливаюсь на своих внутренних процессах, предшествовавших перечитыванию Л., потому, что мне хочется высказать свое впечатление от Л. и указать значение его и влияние на мою личную жизнь. Это, может быть, никому не нужно, – но разве нужнее те груды «общих мест», произносимых там и сям о классиках, что наши классики – «солнца русской культуры», что надо их беречь от каких-то тайных посягновений, точно классик – это некий фетиш, мертвый божок? Не увеличится наша любовь к Пушкину, если мы десять раз назовем его «солнцем», и наша любовь к Л. не должна ограничиваться словами «великий русский поэт». Надо делать нашу любовь активной, умнее, осторожнее... Надо спрашивать себя беспрестанно: «а жив ли во мне Л., а жив ли Пушкин?» Если не жив, зачем притворяться, что жив.

Вспоминается чья-то превосходная идея профильтровать классиков, которым приносят плохие услуги потомки, смешивая все их произведения в одну кучу. Вот Л. – полное собрание

сочинений, – да это сильно разбавленное вино! Совершенные вещи тонут в море ученических.

Раскрываю страницу, – стих. «Романс», начинающееся погрешностью против грамматики: «Невинный, с нежною душою, не знаяши в юности страстей прилив...» Переворачиваю одну страницу, нахожу стихотворение с сильным началом: «Не обвиняй меня, Всесильный...» и т.д. ... «за то, что лава вдохновенья клокочет на груди моей». Нет сомненья, что поэт мыслил лаву, клокочущую не на груди его, а в груди, но по размеру подходил предлог «на». Почти в половине его стихотворений есть выражения, звучащие совершенно не по-русски, которые нельзя оправдать тем, что русский язык находился в ту пору в стадии развития, – после Пушкина нельзя уже писать, например, так: «Но, досады жесткой пылая в огне, перчатку в лицо он ей кинул».

То, что я пишу, конечно, не разнос Л. Я не имею на то права, да, кроме того, это было бы неблагодарно, – Л. подарил мне много высоких переживаний. Я только констатирую факт, что Л. относился к своему таланту пренебрежительно, как пренебрежительно относился он и к своей физической жизни. Факт неоспорим, – биография Л., даже кратчайший ее конспект, говорит, что мы имеем дело с человеком желчным и беспокойным. Он кочует всю жизнь и не уживается нигде. Сначала кочует из университета в университет. Впоследствии в школу гвардейских прапорщиков. Гусар лейб-гвардии, он, на свое счастье, страшно близко принимает к сердцу гибель поэта Пушкина, пишет пылкое стихотворение: «На смерть поэта», где бросает язвительный вызов определенным влиятельным общественным кругам:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов.

В этих строках есть нотка личной задетости, помимо глубокой скорби за Пушкина. Кто, как не сам Л., был обломком рода, обиженного игрою счастья. Какое огромное падение: его отец – небогатый армейский офицер, имевший предком шотландского знаменитого барда Лермонта, жившего в 11 веке.

Неизвестно, отразились ли эти обстоятельства на характере Л. Критик марксистского толка написал бы статью: «Трагедия Лермонтова в марксистском освещении», где подробно исследовал бы причины, предавшие поэзии Л. тот, а не иной оттенок. Канва его мыслей была такова, что дворянин, род которого потерял свою былую значительность, переживает себя разночинцем. И отсюда он вывел бы и желчность Л., и многие причуды его биографии.

Хочется все-таки думать, что это не совсем так, что личность гораздо свободней, чем видят ее марксисты, что не только общественные условия создают ее, что дело где-то в центре личности, в глубине души, что ли. С этой стороны я хочу посмотреть на Л.

Собственно с Л. (о Пушкине скажу несколько слов потом) начинается новая русская поэзия, которая до самых последних лет носит в себе хаос.

С Л. поэты привыкают быть ослепленными своими страданиями и страстями. С Л. отсутствует у русских поэтов объективное к себе отношение, что придает русской поэзии ей

только свойственный иступленный характер. Об идеализме русской литературы мы достаточно слышали, но никто не задумывался, спасительные или не спасительные идеалы рисовала русская поэзия. Идеал Л., во всяком случае, не был спасительным. Лермонтов почти до самой смерти находился во власти байроновских настроений, оправдывая свое пристрастие к английскому поэту сходством характеров: «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник...» Несомненно, что Байрон влиял на впечатлительного Л. своей, действительно, подавляющей индивидуальностью и, может быть, сыграл в жизни Л. роковую роль, так как «показывать миру свои когти» он обучился у Байрона. На свое несчастье, он забывал, что он не в Англии, но в России, в стране, где возможно всё, где размеры таланта никогда не спасали людей от гибели... Кроме того, он страдал недостатком рассудительности, он так сильно любил людей, что не был в состоянии презирать их внутренне и смиряться перед ними внешне. В светском обществе его самолюбие уязвляли поминутно, он играл в холодность, разочарованность и заносчивость, стали его укрощать и, наконец, укротили в 1841 году рукою некоего Мартынова.

Я сейчас не пишу монографии, я хочу провести одну только мысль, что Л. отнесся к себе небрежно сам, скорей, даже не небрежно, а злобно, почти как враг. Он был в вечном с собой разладе, и вся жизнь его при пристальном рассмотрении представляется перманентным самозамариванием, саморазрушением. Он вел ненормальный образ жизни, – то ночные оргии, то ночная работа. Но к этому приспособилось бы его железное тело, если б не примешалась еще причина

психического характера. Л. внутренне никогда не давал себе свободы в противоположность непосредственному Пушкину. Немудрено, что образ «темницы» часто мелькает в его стихах. «В каменный панцирь я ныне закован, каменный шлем мою голову давит». Скованность сквозит в выборе тем Лермонтовым, он значительно однообразней Пушкина и почти всегда выражает равнодушие ко всему, – самая пагубная для поэта черта. Об этом хорошо говорит Гоголь: «Безрадостные встречи, беспечальные расставания, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом его стихов и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом «безочарование». Безочарованием Л. сковал свой мозг так, что потом не стало сил освободиться.

У Л. была какая-то роковая способность идти по намеренному раз пути хотя бы и к гибели. За Байроном он пошел и в стихосложении, но, к счастью, здесь влияние Байрона не оказалось таким пагубным, напротив, русский стих обогатился новыми мелодиями. Это он впервые принес размерные перебои, характерные для английского стиха, но в русском языке считавшиеся недопустимыми настолько, что даже после Лермонтова поэты не решались их употреблять, пока их не узаконили совсем недавно символисты. Но особенно эта преемственность его стихосложения от Байрона подчеркивается избытком у Лермонтова мужских рифм, которые характерны для него, как ни для кого из предыдущих и последующих русских поэтов. У Пушкина количество мужских и женских рифм находится в приблизительном равенстве. Не то у Л., который даже крупные поэмы, («Боярин Орша», «Мцыри») строит исключительно на

мужской рифме. У Пушкина нет ни одного стихотворения с таким звучанием:

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Они еще не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит,
И смерть навеки оживит.

Мужская рифма придает поэме «Мцыри» особую выразительность. После каждой строки точно стоит точка, точно поэт, читающий вслух стихи, обрубает каждый стих ударом ребром ладони. Надо заметить, что пристрастием Л. к мужской рифме символизируется именно его скованность, вернее, «самосковываемость, самоурезывание, самоограничение», так как мужская рифма вообще менее свойственная русскому языку, в котором наибольший процент слов имеет ударение на втором или на третьем слоге от конца слова, нежели на последнем. Писать поэмы одной лишь мужской рифмой был явно неблагодарный труд, но никаких трудов не боялся Л., чтобы себя сковать. В данной поэме, впрочем, он явился победителем, но сколько раз он бывал побежденным.

В своем слепом стремлении сделать себя сильным путем колоссального самоограничения и отгораживания от радостных сторон жизни Л. пошел так далеко, что потерял свободу и власть над собой, которую так желал иметь. Терять свободу ему помогало и отсутствие объективного отношения к себе и своим страстям, – Л. до конца своих дней не изжил в себе юношеского эгоцентризма: «я – центр мира».

Он никогда, например, не написал бы на себя эпиграмму, как это сделал Пушкин:

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю,
Исполню ли, – Бог весть.

Так написать о себе может только человек, способный покинуть на мгновение свою оболочку и взглянуть на себя спокойными глазами со стороны. Как раз от Пушкина остается впечатление, что он сам видел себя точно таким, каким мы теперь его себе представляем: «миляга, простой рубаха-парень, кутила, шалун», видел высшим духовным оком, но это духовное око у него отнюдь не возмущалось зрелищем «кутилы и волокиты». Не помешай ему злые люди, он закончил бы свою жизнь так же, как прожил, завидно легко, потому что он прежде всего не рисовал себе себя неким идеалом, демоном, подобно Л., а что у него выходят иногда хорошие стихи, он думал, что это так, – свыше. Не лишенный, однако, рассудительности среднего человека (назовите его обывателем), он понимал, что и свыше ничего не слетает даром, что много надо корпеть, потеть и думать, чтобы уложить в четкие стихи то, что слетело свыше. Писать ему по-русски было трудно, так как с детства он говорил, читал и писал по-французски, но он не унывал, работал, вкладывая в работу большой жар, – ведь по его жилам текла горячая неутомленная кровь. Но он не был бы гений, если б только жар и опьянение он вносил. Была у него и трезвость, сознание, что для русской словесности не надо жалеть сил, –

и он не жалел... Кто еще в русской литературе написал более просто, просветленно и проникновенно о труде:

Миг вожденный настал. Окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Эти черты Пушкина, несмотря на их видимую простоту, являются, вероятно, самой таинственной загадкой, которую Пушкин вместе с собой подставил под выстрел Дантеса и унес в могилу. Непонятен нам, русским, неисступленный труженик, – непонятно, каким образом так легко промаялась на этом свете его усложненная, многосторонняя натура, без видимых конфликтов с самим собой. Отсюда вывод: наша тяга к Пушкину – тяга к непонятному, к тому, чего у нас нет, – а у нас, действительно, нет Пушкинской гармоничности, – мы все тоскуем об утраченной гармонии.

Сколь с этой точки зрения ясней нам Л., внесший в русскую литературу хаос своей путаной души. Да, – начиная с несчастного, вечно двадцатишестилетнего Михаила Юрьевича Лермонтова, русская литература стала самой исступленной и самоуглубленной из всех европейских литератур. Не от него ли пошла аскетическая муза мести и печали Некрасова и современная околдовывающая муза, питавшаяся цыганскими надрывами, «ночами безумными, ночами веселыми», муза пышноволового аристократа, носившего в себе немецкую кровь, – муза Блока.

Повторяю: нам понятнее Л., но почему все-таки Пушкину посвящаем мы дни нашей русской культуры? Не хороший ли это знак, что мы хотим излечиться от нашего тайного пристрастия к Л., ставим памятник ежегодно Пушкину, хотя, в сущности, лишь Л. – властитель наших дум.

*

Собственно, я сказал всё, что намеревался, но, боясь, что буду не понят вполне точно, делаю резюме вышесказанного...

Оно, т.е. вышесказанное – только тощий плод моих личных отношений и пристрастий к великому русскому поэту. На объективность я менее всего претендую. Но я много жил Лермонтовым, много прикидывал к своей слабой – слава Богу – незавершенной личности его могучую личность. Безраздельный восторг – первая стадия моего отношения к Лермонтову, восторг, далеко еще сейчас не изжитый, как ни бился я вытравить его чисто рассудочным путем. Я стремился всё время к здоровью, – так, одно время я внезапно рванулся к Тургеневу, совершенно чуждому мне писателю, рванулся потому, что приметил в Тургеневе черты, которыми я не обладаю. На этой же основе я стал стремиться к Пушкину...

Но не так-то легко было сбросить тяжелую власть, тяжелое очарование Л., одним только обращением к другим источникам, а сбросить ее я решил бесповоротно. Пришлось сознательно делать то, что делают бессознательно люди, больные неразделенной любовью, а именно выискивать в предмете своей любви, в данном случае в Л., – мелкие погрешности, немногочислен-

ные шероховатости, чтобы как-то стряхнуть поработавшее очарование.

Тут я и подошел вплотную к Пушкину, который помог мне в борьбе с Л., оздоровил меня, и Л. не то что отошел на задний план, но где-то во мне притаился и ждет минуты, когда я снова устану выздоравливать, когда мне захочется надрыва, а я – русский, и мне соблазнительны надрывы...

ЧИСЛА IX. ПАРИЖ

С первого номера «Числа» заставили смотреть на себя как на некоторое единство – до такой степени все участники журнала охвачены общим веянием, еще не могущим быть сформулированным в точных понятиях, но уже достаточно определенным. Теперь – уже девять номеров вышли в свет. Единство по-прежнему остается, но, если участники по первым номерам как-то не отделялись для нас один от другого, теперь многие из них уже имеют лицо.

Начинается книга – как обычно – стихотворным отделом, который производит прекрасное впечатление. Екатерина Бакунина тонко углубляется в психологию одиночества. Гиппиус – в прозрачных, классического совершенства стихах – изумительно выявляет свои лучшие стороны: поэтичность, простоту, редкую музыкальность. Немного непонятен Валериан Дряхлов, – по числовски болезненно психологичный, но слишком уж нарочито пишущий неряшливо. Его устремление к раскрепощению стиха, как и у всех, впрочем, числовцев, от всего внешнего, формального – понятно, но некоторые словесные ходы звучат у Дряхлова настолько неуклюже, что отзывают не раскрепощением, а напротив – рабством. Одно верно: Дряхлов запоминается, трудно сказать, ввиду ли значительности его созерцаний, или ввиду вышеупомянутой словесной неуклюжести. Ладинский в этой книге прекрасней, чем всегда: каждое из двух стихотворений – цельная музыкальная фраза с едва уловимыми нюансами. Печальны, проще, чем всегда, достойные «Чисел» стихи Юрия Мандельштама. Сухим блеском сверкают стихи Оцу, колоссально сконцентрированные – скупые и холодные. Что-то

от Некрасова есть в них, какая-то небывалая смесь временного и вечного, фельетона и самой углубленной лирики. Противоположность Оцу – Поплавский, безвольный, расплывчатый, очень часто восклицающий и всплескивающий руками по-детски беспомощно. София Прегель едва ли не единственная из числовцев, которая умеет и любит описывать вещи. Свое детство она помнит именно в вещах. Стих прост и искусен, – быть может, эта искусность замечается потому, что стихи не поют, не кричат «о самом главном», а описывают. Стихи Раевского торжественно заданы, как философские проблемы. Этому вполне соответствует их суровость. Червинская радуется еще более, чем в прошлых книгах. Это нелогичные стихи (стихи могут быть и логичными) плывущих образов, всегда жалостных, сумеречных, и между ними в скобках всегда есть «о самом главном». О Щеголеве как об участнике «Чисел» говорить еще слишком рано.

Прозаический отдел начинает Буров: «Мужик и три собаки». Это необыкновенно нежная человеческая проза, написанная с большим давлением крови. Русский миллионер, из мужиков, берет себе в жены княжну, пользуясь ее экономическими затруднениями. Она его ненавидит, живя в его роскошном огромном доме. Драма развивается... Миллионер – недаром он из мужиков – поступает с ней однажды по-мужицки, жестоко ее оскорбляя. Она стреляется и долгое время борется со смертью. Организм, наконец, одерживает *победу*, и тут совершенно случайно миллионер перестает быть для нее миллионером, обнаруживаясь просто слабым любящим человеком. И говорит она: «я думала, что ты только богатый... а я тебя, Никита, не променяю теперь ни на кого в целом мире». В романе Галсуорти «Человек Собственности» сюжет почти тот же. Сомс, богач, тоже «поку-

пает» себе жену, красавицу Айрен, на той же почве развивается драма, но выводы, делаемые великим английским писателем – как непохожи они на выводы Бурова! Сомс никогда не станет человеком, Айрен никогда не будет его любить, а всё больше ненавидеть... Удивительно, что здесь в приблизительно одинаковом сюжете, данном, видимо, самой жизнью – русский писатель, числовец, эмигрант – пусть в маленьком масштабе – более ясен и светел в своей философии: – «всё еще будет по-хорошему. Жизнь – что море, а дни – что бурные речонки, и выпадают часы, что целой жизни стоят...» – нежели английский писатель... Внешне Буров чем-то неуловимым связан с Ремизовым, который представлен на этот раз в Числах «Шишом еловым».

Трудно классифицировать этот род литературы, несомненно созданный Ремизовым. Здесь лица вымышленные разговаривают с лицами невымышленными, имя какого-то Василия Куковникова тесно сплетается с именем Льва Шестова, знаменитого философа, проживающего сейчас в Париже. Здесь Ремизов свободно, ничем не смущаясь, говорит обо всем, главным образом о Толстом, Достоевском, Гоголе – трех китах, на которых держится вся сокровеннейшая суть Ремизова. В то же время эмигрантщина и ее житейское здесь удивительно – между строк – отражены. Ходит взъерошенный Ремизов по Парижу, собирает анкету: «для кого писать?» – и странное охватывает вас состояние при виде этого чудака, наделенного величайшим словесным мастерством. И нежалкий он, и всепонимающий он, но чудной. Чудной – вот в чем трагедия Ремизова, глубокая – потому что почти недоступна глазу – трагедия.

Фельзен продолжает «Письма о Лермонтове» не менее удачно, чем всегда. Совершенно по-новому видится Лермон-

тов сквозь призму Фельзеновского самокопания. У Фельзена, поистине, есть какой-то, давно и неразрывно с ним слитый, удивительный «интеллектуальный воздух». Говоря о Фельзене, непременно вспоминают Пруста. Это правда: творческий метод Фельзена восходит к Прусту, – сам автор это подчеркивает, – но «интеллектуальный воздух» у Фельзена только Фельзеновский, и это самое главное.

Нельзя обойти Шаршуна и его «Отрывки из романа». Шаршун всё пишет о Долголикове – не то юродивый, не то современный эмигрантский герой. Это нервное мнительное существо, мечтатель, художник, нарциссист, – в нем перепутано всё до ужаса, разобраться невысказанно, но это живое существо и это, может быть, даже человек, – да, более человек, чем люди, ходящие в офис и домой, душевно пустые, мертвые! Их много – ох, как страшно много! – поэтому хватаешься с надеждой за Долголикова, как за человека. Но какой спутанный образ. Какое смятение разнохарактерных черт, какая неврастения... И это человек, – невольно сентенциозно шепчешь про себя. Грубостью и имажинизмом Шаршун заставляет вспоминать Эренбурга. Кстати, неврастения обоих имеет много общего, – неврастения горожанина, который уже никогда не увидит полей, лесов, степей, неврастения даже не современного горожанина, а будущего, когда механизация убьет всю живую природу. Шаршун уже живет в этом времени...

Самое лучшее в «Числах», пожалуй, статьи. Оцуп твердо зовет «к победе над грубым миром. Ее может и не быть. Но стоицизм не для победы наверняка. Он скорее для сохранения достоинства в поражении». Поплавский уясняет в своей статье сущность русской трагедии в России, где «личность ничто».

Он говорит о духе большевизма, который далеко не наносное веяние в России, а коренное... И подчеркивает роль эмиграции: «мы заговорим с народом тогда, когда он захочет нас слушать, а пока мы знаем, что никакая социальная путаница не может разрушить личной жизни человека, на глубине которой находится его величайшая радость, его личное, никому не передаваемое общение с человеком и Богом».

Терапиано в статье «На Балканах» говорит об эмиграции как о своеобразном маленьком новом государстве, где «есть свой Пруст и своя Контесс де Ноай». Всероссийский великодержавный масштаб утерян, трагедия Исхода из России уже перестала ощущаться как трагедия, поскольку мы образуем теперь новое государство.

Антон Крайний говорит об оскудении литературы современности, о «падении человеческой талантливости».

Кроме еще нескольких столь же интересных статей, есть в «Числах» обширный библиографический отдел. И в статьях, и в кратких рецензиях – один подход к литературным произведениям, один критерий, упомянутый Антоном Крайним: «поиски человеческой талантливости».

«Числа» дают огромный материал, и этот материал настолько ценен, настолько своевременен, что с болью читаешь на обратной стороне заголовного листа: «настоящий сборник набран и отпечатан в мае тысяча девятьсот тридцать третьего года в типографии Паскаль в количестве шестисот экземпляров на бумаге альфа». Уже шестисот, – тогда как первый номер вышел в количестве более чем тысяча.

Еще раз констатируешь факт: люди не покупают нынче книг.

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Россия (не С.С.С.Р. и даже не эмиграция, а вечная Россия русского мессианского сознания) пережила недавно невозместимую потерю. В С.С.С.Р., видимо, от лишений и недоедания, на пятьдесят четвертом году жизни умер Андрей Белый.

Нельзя даже приближенно передать, что Россия потеряла с этою смертью... Пройдет время. Имя Белого и весь его облик – в буквальном смысле пророческий – будут всё далее уходить от нас в вечность, над тайной которой Белый столько бился, и по мере этого увеличиваться. Лет через пятнадцать Белый обрстет огромной литературой, которая воздаст ему должное и возведет, по крайней мере, к Гоголю и Достоевскому. В этом не может быть никаких сомнений!.. Белый своею мыслью озарил и оплодотворил десятки, если не сотни, писателей. Его мысль всю его жизнь не уставала работать в самых разнообразных областях, для него не было ничего мертвого и неинтересного. Как художник он создал ряд романов, среди которых «Петербург» – несомненно, величайший после романов Толстого и Достоевского. Как поэта его также без малейшей натяжки можно возвести до самых вершин русской поэзии. Как критик и как философ он не менее замечателен... От него пошли современные критики-формалисты, футуризм много попользовался Белым, символизм в его лице имел самого блестящего теоретика. Как от кремня, от Белого во всех направлениях летели искры. Эти искры разбросаны по его многочисленным писаниям. «Имеющие уши» подхватывали эти искры и лелеяли, и долго еще будут подхватывать и лелеять.

Сейчас – ужасно даже подумать, ужасно сопоставить тот гигантский облик, до которого разрастется Белый, хотя бы через десять лет, с мыслью о том, что ведь Андрей Белый в начале января 1934-го года умер, и умер от тяжелых условий жизни, вероятно, в нетопленной московской комнате, питаюсь хлебом и водой.

Разбор содеянного Белым – дело десятилетий и столетий. Его объем подавляет сознание. Не надо в этой статейке даже пытаться говорить о его творческих свершениях!.. Но, так как я никогда не отделяю литературы от жизни, литературы от личности автора, я расскажу так сдержанно, как могу, про вторжение Белого в мою жизнь. Я расскажу о моей личной потере...

В шестом классе среднеучебного заведения я впервые натолкнулся на Леонида Андреева. Этот писатель тогда свел меня с ума... Всё, что я мог достать здесь Андреева и об Андрееве, я перечел, как в лихорадке. Пожалуй, меня захватил не сам Андреев, а какой-то иной мир, начавший мне приоткрываться через Андреева.

Однажды я набрел на небольшую книжку: «Воспоминания о Леониде Андрееве». Там об Андрееве вспоминали Телешов, Бунин, Блок, Андрей Белый и др. Имена двух последних были мне тогда почти незнакомы. Правда, в критической литературе об Андрееве, которую я проглотил, мелькали их имена: Блок сказал то-то, Андрей Белый – то-то, и для меня уже тогда эти имена звучали необычно и обещающе, точно я предчувствовал, что именно в них или через них мне откроется новый мир; но только после прочтения небольшой статьи Белого об Андрееве этот мир стал мне по-настоящему приоткрываться. Помнится: Белый там писал, что Андрееву, несмотря на его бытовизм, был

важен не быт, а Бытие. «Андреев с нами», – говорил Белый, а я думал: «с кем это с нами?» Скоро я узнал, что это – «мы» – символисты!

Я стал вникать в этот мир. В этом мире люди «летают на звуках», в этом мире я почему-то всегда видел огромного человека непременно с изумленными очами и лбом величиною с купол. Это был Андрей Белый, хотя в то время я еще не знал, как он выглядит...

Но этого для меня недостаточно. Белый еще не живет для меня полною жизнью. Узнать, как он выглядит, становится моим страстным желанием. Мне не с кем посоветоваться – знакомых у меня в ту пору мало, и они ничего не знают о Белом... Но я упорствую, постепенно – кажется, от Шкловского – узнаю, что Андрей Белый – «в миру Борис Николаевич Бугаев». По Эренбургу или по Гиппиус узнаю, наконец, как это Бугаев выглядит. Оказывается, у него именно такие глаза, как я думал, изумленные, «широко отверстые», и огромный лоб, и еще – дыбом стоящие волосы на полулысой голове. Оказывается, он не передвигается, а носится, и, когда он присутствует в комнате, от него исходит ветер – из каких миров?

Жадность моя ко всему, что связано с Белым, разжигается... Мне уже не хватает словесных описаний. Мне нужно знать, как скомпонованы эти отдельные черты на Беловском лице. Мне хочется иметь его фотографию. Скоро и это желание удовлетворено. Мне попадаете альбом фотографий современных русских писателей. Листаю его лихорадочно, – неужели нет? – А. Толстой, Ф. Сологуб... Блок... Белый... так вот он какой! У него покатые, видно, худые до последней степени, плечи, на них обвисает мятый пиджак (портрет уже поздний,

советский!), из воротника высунуты тонкая жилистая шея, а на лице, до сумасшествия внимательном к чему-то невидимому, горят большие светлые глаза, о которых он сам где-то писал: «ужасны глаза мои!..» Облик человека, который дышит не простым воздухом, а кислородом, облик сгорающего человека!

Белый становится всё осязаемей. Он становится – свой, родной. Но я ношу эту свою привязанность к нему одиноко, мне не с кем ею поделиться, а она тяжела. Некоторые из моих «читающих» знакомых или ничего не знают о Белом, илижимают плечами: – да, но странный, странный это писатель.

Тогда я замыкаюсь в себе и больше никого не ищу. Пусть я буду один со своими странными привязанностями... Но жизнь меня формирует, – хочу я этого или нет, я становлюсь всё менее мечтательным и лишь с одной мечтой ни за что не хочу расставаться. Это – мечта когда-нибудь увидеть Белого, только взглянуть на него.

До самого последнего времени я не терял этой надежды... Совсем недавно господин, приехавший из Германии, рассказывал мне про свои встречи с Белым на курорте, еще когда Белый проживал в Германии. В седом серебряном пуху вся лысая голова Белого, но глаза те же, неизменные, изумленные. Чинные немцы косились на него, когда он в халатике выходил на пляж. По вечерам он учился танцевать фокстрот и танцевал долго, бешено, подпрыгивая, взлетая. Чинные немцы звали его: профессор, а про себя, конечно, думали: сумасшедший! Радость расцветала во мне, когда я слушал этого господина: а ведь Белый еще живуч!..

И не смутила меня заметка, проскользнувшая в одной из местных газет, сообщавшая, что Белый сейчас работает над

своим «архивом Белого» и намеревается выпускать свои «посмертные сочинения». Я увижу Белого, – думал я.

Только последние две недели, идя по улице, перебирая по отроческой привычке стихотворные строчки свои и чужие, я припомнил внезапно одно его стихотворение его «мертвого» периода, когда он засушивал себя книгами неокантианцев, когда он писал: «черствая чувственность – роковой наш удел».

Стихотворение всё не вспомнилось, лишь немногие строчки, особенно:

Но равнодушно и мертво
Остановившееся сердце.

Почему именно эти две строки, – я не мог понять, да и не анализировал. И вообще это стихотворение я не так уж сильно любил, – однако всплыло оно, а не другие, любимые, вроде:

Мать-Россия, тебе мои песни,
О, немая, суровая мать!
Там, где глуше мне дай и безвестней,
Непутевую жизнь отрыдать.
Поезд плачется...

И только теперь я знаю причину... Это Андрей Белый – я верю в это – сам послал мне весть, что «равнодушно и мертво остановившееся сердце», то самое сердце Бориса Николаевича Бугаева, страстно проколотившееся пятьдесят четыре года.

Но почему вы так поторопились, Борис Николаевич? Может быть, лет через десять я – уже как русский человек – буду

иметь право поехать в Москву. Могу же я надеяться, что получу это право. До сих пор я верил и надеялся, хотя порой мне бывало страшно, и еще сейчас я верю и надеюсь, но никогда мне не было так больно и страшно, как сейчас...

...Равнодушно и мертво
Остановившееся сердце!

О ТВОРЧЕСТВЕ (Отрывок из доклада)

Коммерсант, фабрикант, т.е. то, что мы обозначаем английским словом «продьюсер», обязан заботиться, чтобы предметы, им производимые, удовлетворяли потребителя. Он – поэтому – будет плохой продьюсер, если¹ он не знает их потребностей и вкусов в тот или иной период времени. Его продукты в таком случае не станут приобретать.

С этой точки зрения всегда было трагично, а сейчас трагично в удесятенной степени положение иного продьюсера, – продьюсера литературных ценностей, в частности произведений, написанных стихом, т.е. размеренными строчками с рифмами и аллитерациями.

С одной стороны, он трагически сходен с экономическим продьюсером, коль скоро и его продукты требуют сбыта, с другой – как продьюсер, и в целях наилучшего производства – он трагически с фабрикантом-продьюсером не совпадает, так как чем менее творчество поэтическое упирается на массовость и скоропреходящую злободневность, тем оно продуктивнее в смысле его подлинности и долговечности.

Это несоответствие, несмотря на всю его видимую прозаичность, является, однако, очевидным и реальным фактором современной литературной действительности. Отмахнуться от него как от чего-то низкого нелегко. И даже не в экономическом смысле нелегко, – поэты как-нибудь проживут без гонораров, как-нибудь по-другому устроят свою жизнь, не в этом соль. Соль

¹ В газете явная опечатка: или.

в том, что творцу нужно всё время ощущение взаимодействия между ним и какой-то аудиторией, непременно реагирующей на то, что он сказал или написал. Речь не идет о согласии этой аудитории с творцом, поэтом в данном случае, а именно о ее реагировании. Пусть иногда даже отрицательное реагирование, но не снисходительность, не индифферентность.

Эта индифферентность современного читателя имеет одну неприятную черту, а именно: она есть индифферентность к поэзии вообще, к поэзии во всех почти ее проявлениях, но она прикидывается, что она индифферентна лишь к современным поэтическим явлениям, которые в крайнем своем выражении могут быть обозначены словом «заумь». Современный читатель притворяется, что он не любит современные стихи, заумные стихи, и он и себе не признается, что, в сущности, поэзия сама по себе ему нужна. Но в этой косности он никогда не дойдет хотя бы до Смердяковского крайнего утверждения: «стихи – вздор-с, ну рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит» – не дойдет, потому что ведь были же Пушкин, Лермонтов, которых и проходим в гимназии (нет, конечно, поэзия – великая вещь), но современная поэзия вовсе не поэзия! Так безразличием к современной поэзии маскируется безразличие к Поэзии с большой буквы, которая всегда едина, для которой нет ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего.

Вот почему защиту поэзии в лице современной поэзии я начну с защиты именно зауми как крайнего выражения современной поэзии. Защита будет преимущественно психологическая. Существует выражение: «понять – простить». Вот к этой способности понимания я и буду апеллировать: «Поймете – и тогда простите».

Дело в том, что есть, по моему мнению, два сорта зауми, которые профан по неведению не различает. Есть заумь и заумь. Такое, например, стихотворение:

25, 25... целых 8.

Далеко стонет бледная Лебедь,
Этот Март невеселен, как осень...

25, 26 – будет 9.

Будет 9... Иль 100, 90.

Под землей бы землю прикрыться...

Узел туг, а развяжется просто:

900, 27, но не тридцать.

900, да 17, да 10...

Хочет Март Октябрем посмеяться.

Хочет бледную лебедь повесить.

Обратить все 17 – в тринадцать.

Стихотворение это принадлежит поэту-символисту, З. Гиппиус. Напечатано в девятом номере Чисел. Это, без сомнения, заумь, потому что, хотя никогда истинная поэзия не может быть передана иначе, как только теми словами, какие употребил поэт, всё же идея незаумного стихотворения может быть с грехом пополам выражена в точных понятиях. Идея процитированного стихотворения только чувствуется, смутно угадывается, уточнить и постигнуть ее рассудком до конца невозможно.

Этого рода заумь я бы назвал заумью символической, или заумью символистов. Причина такого рода поэзии (я опять упрощаю и опошляю) заключается в бессилии слова. Когда-

то пламенно восклицал Надсон: «холоден и жалок бедный наш язык». Но восклицать, но констатировать бессилие языка мало. И вот символисты подошли практически к делу. То – из хаоса человеческих мыслей и чувств, что не укладывается в адекватные понятия, они пытаются передать посредством эквивалентов, символов. В данном стихотворении дело обстоит именно так. Таковы истоки – мною это очень грубо очерчено – поэзии символической, символической зауми, – да будет позволено мне так выразиться.

Но есть иная заумь. Она, пожалуй, философски неотделима от символической зауми, но практически, формально между ними есть отчетливая граница. Эту заумь я назову заумью футуристов.

Исключительно ярко и обнаженно формулирует в стихотворной форме сущность этой зауми Велемир Хлебников. Он говорит в одном месте:

Вчера, в полминуты пополудни,
Мир скончался на моих руках.
Я проснулся и в испуге
Стал шептать пустые слова.
Тельман... Сахту... Скуе...

Дело в том, что слова человеческие есть лишь обозначения мира вещей, вещного мира. И вот Хлебников говорит: «мир скончался», – о каком скончании мира он говорит? Разрешить этот вопрос нам поможет Крученых, который в одной из своих теоретических статей говорит (передаю неточно по памяти): «Лилия прекрасна, как лилия, как цветок, как вещь», но ужасно

слово «лилия», затасканное до омертвелости. Теперь нам ясно, о скончании какого мира говорит Хлебников, – разумеется, не о скончании мира вещей, который никогда не перестает быть прекрасным, но о скончании мира слов, обозначающих эти вещи. Вот почему хотя бы Крученых слово «лилия», мерзкое ему многократным повторением, как становится мерзким романс, вначале сильно действующий, если он распеваётся на всех перекрестках, – заменяет это слово словом: «еуы» его собственного изобретения, полагая, что это слово прекраснее слова «лилия». Попытка эта, конечно, курьезна, но нельзя не согласиться, что она – только крайнее выражение переживания, которое должно быть психологически всем знакомо. Как часто от лиц, совершенно к литературе не причастных, можно слышать следующее: «вот писал, или писала письмо, так много хотел сказать, а перечтя, увидел, что ничего не вышло, – совсем не то, что я хотел сказать». Если не пишущему вообще человеку это переживание не совсем чуждо, что же говорить о поэте, который взвешивает «цвет, запах и вкус» слова? Вот почему, если не внешне, то психологически, по человечеству, так сказать, надо признать правоту за заумниками. Пусть эти попытки курьезны, пусть даже на грани безумия стоят они, – понять их значит: простить...

ГЕЖЕЛИНСКИЙ «ОБ ИСКУССТВЕ»

Когда в Германии был написан Вертер, началась своеобразная эпидемия. Молодые люди стали носить желтые панталоны и синий фрак – костюм Вертера, и самоубийства участились. А после написания Байроном Чайльд-Гарольда – сколько Чайльд-Гарольдов расплодилось по всей Европе, включая и нашу Россию. Все мы помним «москвича в Гарольдовом плаще», который еще нынче не перестает формировать поведение многих людей.

Вся мировая литература держится, собственно говоря, на этом. Художники создают известные типы, образы, «образы поведения». В этом действенность искусства. В сущности люди, особенно в период юности, не знают, как им вести себя в этой жизни. Тогда-то им приходят на помощь образы искусства. Эти образы формируют человеческую психологию, побуждают людей яснее разобраться в их пристрастиях и антипатиях. Нынче, например, кинематографические образы играют огромную роль в этом формировании. Появились Греты Гарбо, Рудольфы Валентино, Тарзаны, Джоны Барриморы...

Но, в сущности, все эти «образы поведения», несмотря на их видимое разнообразие, можно свести к двум-трем основным, корневым образам. Эти последние, сочетаясь разными способами, вступая во взаимодействие, и создают видимое разнообразие психологических типов. Попробуем откопать эти корни.

Во-первых, Аполлон. Это – стройность, солнечность, узаконенность, миропорядок. И это – прежде всего – существова-

ние, не омрачаемое мыслями о смерти, принятие жизни так, как если бы она была дана на веки вечные.

«Но, – по слову поэта, – бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится». Аполлиническая ясность неизбежно затмевается, миропорядок оказывается не толь уж прочным перед темным ликом Фатума. Здесь выступает на сцену образ Диониса. Это – опьянение, экстатичность, отдача себя хаотическим силам. Здесь начинается трагедия, как только эти два образа вступают в борьбу, и вся история, по существу, является ареной борьбы Аполлона и Диониса.

Однако и Аполлону, и Дионису не хватает полноты. Они – как бы две стороны какого-то целого... И история выдвигает тогда образ Христа, которому суждено утихомирить трагические начала и ввести начало литургическое.

Правда, власть дохристианских образов Аполлона и Диониса далеко еще не изжита, они не лишились еще их формирующей силы, трагическое мировоззрение еще господствует, но в этом-то и лежит задача современного искусства, чтобы разрешить трагические диссонансы посредством образа Христа.

Символизм в искусстве пытался сделать это и порой приближался к осуществлению этой задачи, но есть одно «но!». Дело в том, что символизм – музыкальный синтез искусства – пытался дать именно музыкальный образ, а у музыкальных образов, при всех их преимуществах, нет должной определенности. Как писал Блок:

С неразгаданным именем Бога
На холодных и сжатых губах.

Именно: имя Бога все-таки остается неразгаданным, – символизм признает себя бессильным. Он весь еще в трагедии, и необходим какой-то иной синтез, в котором трагические основы были бы окончательно вытеснены литургическими, христианскими, при этом с должной определенностью и отчетливостью.

Вокруг этого стержня вращаются мысли данной книги. Книжка маленькая и издана небогато, но мысли всегда остаются мыслями и никогда не потеряются, в какой бы незаметной обложке они ни содержались. Впрочем, об этом в самой книжке есть хорошие слова:

«Даже гиганты и великие строи, и они будут заброшены и зарастут травой после какого-нибудь открытия, звучащего странно и нелепо, после тихого слова, сказанного почти загнанным в подполье, скромным незаметным ученым специалистом, которое сделает ненужным и все безумные напряжения изматывающего строительства, и “бешеный лязг, грохот, угар” и т. п.». »

О РОЛИ ХАРБИНСКОЙ ЧУРАЕВКИ

Итак, перед нами во всей серьезности и грандиозности стоит четко намеченная задача, задача создания русского искусства за рубежом с беспристрастной оглядкой на Россию и на всероссийский масштаб, дабы не измельчиться и не свариться в своем собственном соку. У нас еще нет молодых творцов, молодых твердых работников искусства, у которых были бы наметаны зрение, вкус, слух, обоняние и осязание к правде жизни и к правде своей собственной личности. Жизнь русской молодежи вся изъязвлена, – язвы эти должны быть обнаружены, и для этой цели русской молодежи нужны остроглазые люди, которые видели бы больше и глубже, чем видят остальные, и могли бы напряженно выражать то, что они подслушали или подсмотрели. Чтобы бороться со своими болезнями, надо знать их. Коль скоро болезнь осознана, в особенности болезнь психического порядка, тем менее она угрожает. В этом вечная терапевтическая сила творчества.

Этих совестливых правдивых людей у русской молодежи еще нет, – их надо создать. У нас в эмиграции есть уже молодежь, отдавшаяся политике. С какой точки зрения ни расценивать их делание, оно остается русским деланием и с этой стороны естественным и необходимым. Но вопрос призвания – великий вопрос, не вся эмигрантская молодежь имеет призвание к политической работе, неизменно суживающей кругозор и подрезывающей крылья мысли, и, может быть, это не такая большая беда, что не вся молодежь кидается в политику. Не только политика делает будущую Россию, как не делала политика прошлой России. Отсюда – вывод, который нам пора

давно сделать: прямо или косвенно мы работаем для России. Эта Россия еще живет в наших сердцах, она витает в воздухе, но – рано или поздно – самые призрачные идеи оплотняются, материализуются, и то, что еще сегодня вечером – мечта, завтра утром обращается в самую реальную реальность.

Масштаб, размах нашей работы еще весьма невелик. Это – собственно – самая опасная угроза, измельчания или провинциализма. Вот почему надо вечно помнить о России и оглядываться на нее. Это огромное вековое слово, которого не вытравит, как ни бьется, история, – хотим мы этого или не хотим, остается нашей единственной защитой и оплотом от всякого рода угроз, вроде угрозы измельчания.

Угроза денационализации русской молодежи... Есть, конечно, и она. Каждый из нас знает о тех слабых русских, которые – порой – стесняются своего русского происхождения и родного языка. Слишком печалиться об утрате этих людей для России не приходится, – «плохая трава из поля вон», но – тем не менее – это может стать нашей второй задачей: через русский язык, через творчество на русском языке, через беспрестанное самораскрытие русской души в нас самих привнести некоторых слабых, сомневающих в наши творческие ряды.

Правда, здесь есть одно «но», одно сомнение возникает. Это сомнение особенно раздувает пресловутое старшее поколение – «отцы», и не без некоторых оснований. Дело в том, что мы, молодое поколение, почти не знаем России во плоти, так сказать. Большая часть нашей сознательной жизни, а зачастую и вся жизнь нами проведена вне России. Москва, Петербург, бескрайние просторы, замызганные городишки, – эта плотная Россия существует для нас почти исключительно в нашем

воображении. Воспоминаний, которыми единственно живет и питается поколение довоенной формации, у нас нет, и не случайно сомнение отцов: «как они могут любить Россию, не зная ее». В сущности, это верно. Нельзя любить абстракцию, во всяком случае, столь же напряженно, как мы любим существо живое, и вот – отсюда вырастает наша третья задача, которую без помощи отцов нам нелегко выполнить, но с которой мы можем надеяться справиться с их помощью. Плохо, что эту задачу очень трудно определенно формулировать. Задача эта заключается в воспитании органичности восприятия России. Она невероятно трудна, но, пожалуй, именно здесь, в Харбине с ней легче, чем где-нибудь, справиться. Здесь – окраина прежней России, здесь жив еще русский уклад, русские основы... Наконец, здесь есть православные церкви, и кому из нас не знаком этот изумительный холодок в спине, когда мы идем к Светлой Заутрене, и – трезвонят, и – сияющие лица, и – «Христос Воскресе из мертвых...!» В этом больше, чем в чем ином, нам открывается здесь живая Россия, Россия во плоти, и этот восторг от восприятия православной России надо холить и лелеять, обращая его в нерушимую верность и преданность. Восторг, вспышки восторга, может быть, иступленный «Достоевский» шепот: «Россия, Россия»... – всего этого еще мало. Надо попытаться этот восторг закрепить, а закрепить его опять-таки можно только через творчество.

Сделаем выводы из вышесказанного. Нами намечены задачи. Их важность вполне очевидна. Остается только проникнуться важностью этих задач, сказать им: «да» или «нет», и после этого, не медля, взяться за их осуществление, дабы более не делать нецелесообразных шагов в жизни. Нельзя за-

крывать глаза: трудности огромны и неизбежны. Творчество наше будет протекать рядом с суровой борьбой за существование, и неминуемы срывы усталости, падения. Но думается, что наше поколение характерно именно отсутствием жалости к себе. Процветает спорт, требующий суровой дисциплины, и, хотя нет более антипатичного существа, чем ограниченный спортсмен, у которого все помыслы заняты приращением тела, но думается, что эта суровая спортивная дисциплина может быть одухотворена и направлена на неостанавливающееся творчество, в чем бы оно ни выражалось. Главным образом, оно будет выражаться в неустанном самосозидании и – да, – самосовершенствовании. А чтобы в этом самостроительстве по недомыслию не уклониться в ложную сторону, так как и самый светлый человеческий ум не свободен от ошибок, – надо опираться на живую набожность, верить в свою русскую миссию и развивать в себе мужество ради самого мужества, не требуя никаких наград...

И, когда не ждешь этих наград, они обычно приходят и осмысливают казавшуюся бессмысленной жизнь.

«ЧЕРЕЗ ОКЕАН». АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

Теккерей где-то сказал: «храбрость никогда не выходит из моды». Это глубоко верно. Никого мы не любим более, чем храброго человека, потому что истинно храбрый не бывает злым и низким. Добрый человек, храбрый человек – это звучит почти синонимично. У всякого – самого слабого, самого закоренелого из нас – есть тайные струны, которые непременно отзовутся на храбрый поступок, на смелое слово. К этим-то струнам апеллирует Арсений Несмелов своей поэмой «Через океан», вышедшей нынче отдельной изящной книжкой.

Есть у этого своеобразного произведения свои минусы. Но минусы эти такого свойства, что трудно сказать с уверенностью, что они действительно минусы. Кто знает, может быть, именно в этих минусах кроется – местами захватывающая – выразительность этой поэмы.

Язык поэмы весьма груб, стих порой просто неуклюж, многие обороты речи звучат нарочито и искусственно; есть и неудачные словообразования, как, например: «оконтрастить», что – ужасно безвкусно и, главное, неуместно в поэме такого характера. Любителям «сладких звуков и молитв» от Несмелова тоже нечем поживиться: некоторые строфы поэмы – сплошная какофония... Но, с другой стороны, верно и то, что поэму Несмелова не представляешь в ином виде: она живет только такой, как она есть, и, может быть, совсем исчезнет, если ее подчинить да подшлифовать.

Небезынтересно проследить формальные влияния, из которых складывается своеобразное поэтическое мастерство Несмелова. Прежде всего, поэма Несмелова – «лирический

фельетон». Эту форму рьяно пропагандировали футуристы в период создания Лефа как лучшее средство оформления гражданских тем. Словом, с внешней стороны она соткана из советских влияний. Отсюда – масса прозаизмов, отсюда – установка на разговорную речь, и только – местами песенный лад да свобода в обращении с синтаксисом заставляют вспомнить о Цветаевой.

Но содержание поэмы – наше эмигрантское. В ее основу положена газетная заметка. Несколько кадет, раздобыв крошечный парусно-моторный бот «Рязань», решили плыть на нем в Америку. Капитаном судна был избран случайно встреченный в порту боцман. Судно благополучно прибыло к берегам Сев. Америки, установив рекорд наименьшего тоннажа для трансокеанского рейса... Эту незатейливую тему Несмелову удалось почувствовать остро лирически. «Страшные годы России», Россию закрутила метель, и мальчиков-кадет эта метель застает на школьной скамье. Не доучены алгебра и геометрия, – «можно ль учиться, когда надтреснут старый уклад и метель в дыру», и – вот: «Русский от голода и от страха прет бесшабашно на рожон». Но автор – в лирических отступлениях поэмы – не предается печали о надтреснутом старом укладе, о брошенной школе. Перед кадетиками – иная, более совершенная школа – жизнь... Говорят, что в некоторых местах Сибири новорожденного ребенка вываливают в снег: выживет – будет здоров, как бык, не выживет – стало быть, не судьба. В этом то «выживет – не выживет», в преклонении перед жизненной силой человека обретает Несмелов свой весьма несложный, но подлинный пафос. Без крещения метелью, без вываливания в снег для Несмелова невозможен подлинный человек:

или смерть – не выживет, или жизнь – выживет, но не нечто среднее – вялое прозябание... Этот пафос мужества иногда захлестывает, и кажется, что сам надышался свежего морозного ветра, нахлебался соленой холодной воды. Некоторые строфы звучат особенно страстно и выразительно и сформируют не одно юношеское сердце. Например:

Хмуро дичая от понужая,
Бурым становишься, как медведь.
Здесь обрастешь бородой, мужая,
Или истает, чтоб умереть.
В плен ли достанешься, на коленках
Не поползешь: не такая стать.
Сами умели поставить к стенке,
Значит, сумеют и сами стать.

Бодростью, жизненной силой веет и от песенки кадет, постепенно продвигающихся вперед «через океан», написанной веселым хореом, к которому вообще пристрастен Несмелов.

Несмотря на основной бодрый тон, сквозят там и сям в поэме скорбные нотки. И не случайно в восторженное заключение поэмы вкраплены следующие строчки:

Мы – лишь тема, милая поэту,
Мы – лишь след на тающем снегу.

Это скорбь об уходящей в вечность эпохе, о днях величайшего падения. В своей книжке «Кровавый Отблеск» Несмелов некогда восклицал: «всё меньше нас – отважных и беспутных,

рожденных в восемнадцатом году». Да, годы идут, и восемнадцатый год – героическая эпоха – становится далеким прошлым. Но прав поэт, восклицающий, что:

Как торнадо, захлестнет потомков
Дерзкий ветер наших эпопей.

Уже веет ветром новой эпохи, не менее экстатической, не менее героичной. Но думается, что теперь – после ужасного опыта «страшных лет России» – слово «беспутный» потеряло свое очарование. Прекрасно, что люди умеют умирать, но они еще должны знать, за что они умирают.

Поэма Арсения Несмелова расцветает новым значением и перекликается с будущим.

ПРЕДИСЛОВИЕ <К СБОРНИКУ «ОСТРОВ»>

– Прежде всего, почему «Остров»?..

Возникло это название у участников сборника как-то сообща, одновременно, непроизвольно... Но сразу показалось – не *случайно*. И сразу же стало ясно, что так и следует эту книгу назвать.

Большой овальный стол, накрытый белой скатертью, с тщательно замаскированной настольной лампой, в низкой темной комнате чем-то напоминал *остров*. Таким образом, первым толчком к рождению этого названия могло послужить чисто внешнее впечатление.

Но эти содержательность названия для нас не исчерпывается. Слово «остров» множится для нас смыслами.

Остров – нечто отделенное, изолированное от остального мира, замкнутое в себе. Действительно, наши сборы еженедельно, по пятницам, для занятий литературой (преимущественно поэзией) были для нас своеобразным уходом, изоляцией от мира, в котором грохотали бомбы, и рвались снаряды, и были сирены, и остро пахло кровью. Два года, каждую пятницу, сходились мы у этого овального стола, на своем искусственном острове, а вокруг бушевала война, свирепствовали японские оккупанты, царил жесточайший материальный и моральный гнет. Работать литературно, высказываться художественно было нигде из-за цензуры, безбумажья и прочих скорпионов войны...

Уход от действительности, замыкание от мира на своем «острове» – мы менее всего склонны *это* идеализировать. Но в тот период, в той обстановке – это была железная необходи-

мость. Наш «остров» представлялся единственным оазисом среди пустыни. Каждый чувствовал – писать надо. Любовь к литературе и писательское самоуважение требовали преодолеть гнет, сбрасывать апатию и отчаяние хотя бы искусственно, хотя бы по-детски – *игрой*, соревнованием, и вот откуда искусственная, как бы несерьезная, «коллективная» форма этой книги: *сборник стихотворений на заданные темы...*

Преобладающее число участников этой книги – члены литературного объединения «Чураевка», плодотворно работавшего в Харбине до превращения Маньчжурии в «Маньчжугу». Название «Чураевка» происходит от заглавия серии романов сибирского писателя Г. Гребенщикова «*Чураевы*». Но это название было чистой случайностью и осталось за объединением лишь по инерции. Ничего общего с идеями Гребенщикова объединение не имело, если не считать его самого раннего, «детского», вернее «утробного» периода, когда кружок не оказывал никакого влияния на литературную жизнь дальневосточной эмиграции. На самом деле «Чураевка» представляла собой литературную школу для молодых поэтов, где подхватывалось и изучалось всё новое в советской и эмигрантской (преимущественно парижской) литературе, причем преобладало внимание к литературной технике, к «лабораторной» стороне литературного творчества, к чисто внешнему уменью. Из литературных влияний (при всей их пестроте) преобладало влияние символизма и акмеизма...

Судьба разметала поэтов, представлявших основное ядро «Чураевки», но она же сблизила их на новой платформе снова более чем через десять лет в Шанхае, куда за это время постепенно переместилась культурная жизнь всей эмиграции из

задушенного японцами Харбина. Потребность объединения назрела не сразу, а постепенно. К концу 1943 года она ощутилась как необходимость. Так возникла «*Пятница*» (как участники сборника постепенно привыкли себя именовать).

За это время литературная жизнь дальневосточной эмиграции совершенно замерла. Печататься было негде, да и – правду сказать – не для кого. «Пятница» началась в условиях, менее всего благоприятствовавших литературным занятиям. Отпечаток этот и лежит на этом сборнике. Надо было создавать хотя бы *искусственные* стимулы и условия для творчества, чтоб не задохнуться в мертвящей атмосфере. И писание на заданные темы, вынимаемые из «урны» (просто-напросто стакана), в порядке «дисциплины», стало одним из условий. Все-таки стимул!..

Постепенно игра увлекла. Увлекла потому, что стала рассматриваться не как игра, а как дело долга. Впрочем, тут действовало не только увлечение или упрямое желание – во что бы то ни стало – торжествовать над условиями. Тут действовал, пожалуй, и инстинкт самосохранения. Гибель моральная, гибель физическая – это не для красного словца сказано. Угроза такой гибели была более чем реальна. Эти годы в Шанхае и других городах Дальнего Востока многих русских людей «с душой и талантом» (П у ш к и н) подкосили, обескрылили, обескровили, надорвали, опять-таки, или физически, или морально...

«*Пятница*» тоже вышла из испытаний этих страшных лет с глубокой кровоточающей раной. Мы имеем в виду смерть (11 декабря 1944 года) поэт и публициста Николая Петерца – фактического организатора и инициатора всех наших начинаний, непримиримого врага всякой халтуры, неустанного борца за

качество, умевшего вносить целесообразность даже в тот тяжкий «искус молчания», который был навязан нам условиями.

Каждый из нас – на жизнь – вынес горячую благодарность к этому человеку, не терявшемуся ни при каких обстоятельствах и всегда умевшему быть *человеком* в самом хорошем, в самом благородном значении этого слова.

Но работать с нами он продолжает!

Вот линии работы, намеченные Николаем Петерцем в области дальневосточной литературы:

«1. Бороться за создание таких условий, при которых был бы возможен дальнейший количественный и качественный рост дальневосточных литературных сил.

2. Везде и во всем утверждать здоровую – беспощадную – критику, вне которой немислимо осуществление первой задачи и даже приближение к ее осуществлению.

3. Пересматривать литературно-критические оценки, выработывая правильные критерии, которые становились бы достоянием не отдельных кружков, а, более или менее, широкой аудитории» (Журнал «Сегодня» № 34, 1 октября 1943 года).

Эти три направления остаются нашими направлениями и сейчас. Культурная жизнь во всем мире и на Дальнем Востоке должна выйти (если еще не вышла) из замурованного состояния, и поэтому перспективы нашей деятельности в указанном направлении значительно раздвинулись. Пусть этот сборник – итог двухлетнего совместного труда – станет началом стремительного движения по указанным направлениям!..

Структура этого сборника такова.

Он разделен на отделы – «веера», как счастливо выразился один из его участников, – по темам. Этим темам – двадцать, и идут

они в том порядке, в каком писались. В каждом таком «веере» содержатся стихотворения на обозначенную тему, написанные различными авторами (в алфавитном порядке).

Такая структура показалась нам наиболее целесообразной. Она, во-вторых, удобна для читателя, который имеет возможность сравнивать, *как* откликнулся (или вообще не откликнулся) тот или иной автор на ту или иную тему.¹

Это со стороны формы.

Со стороны содержания читатель отметит, прежде всего, разнохарактерность подхода к теме у различных авторов, в зависимости от их поэтической индивидуальности. Тут, в сущности, представлены различные мировоззрения, различные оттенки философской мысли, различные литературные влияния (от символистов до современной советской поэзии). Но «единство в разнообразии» имеется, и это единство сводится к двум моментам:

1. безоговорочно лояльное отношение к новой духовной культуре, творимой в социалистическом государстве (в иных случаях и прямое влияние этой культуры),

2. серьезное отношение к творчеству, стремление дать, действительно, максимум – по способностям, *борьба за качество* (хотя, естественно, участники сборника далеки от мысли считать эти свои произведения чем-то совершенным).

В общественно-политическом смысле, собственно, первый момент связан неразрывно со вторым. Новая советская куль-

¹ Следует особо оговорить, что Владимир Померанцев присоединился к работе «Пятницы» значительно позднее, когда большинство тем было уже выполнено. Он наверстывал упущенное время и поэтому успел откликнуться только на 10 тем.

тура подразумевает неустанную борьбу за качество; борьба за качество, в свою очередь, способствует вникновению в новую советскую культуру.

Впрочем, никто не сформулировал этого точнее и лаконичнее, чем Николай Петерц в журнале «Сегодня», на базе которого и возникло это объединение:

«Надо быть тружеником, чтоб понять государство трудящихся!»

Далее читатель, вероятно, отметит, что в сборнике сравнительно мало отразилась страшная злободневность только что отбушевавшей войны (во всяком случае, *прямо* не отразилась). Но серьезный литератор вряд ли может зачислить себе это в минус. Художник, поэт, а не просто «литературных дел мастер» пишет, как правило, о виденном, о глубоко пережитом, об отстоявшемся. Вот почему сборник злободневен лишь в малой его части. Но это не значит, что он не *современен*. Настроения, отраженные в сборнике, в большой мере *типичны* для целого слоя людей, оторвавшихся на довольно большой исторический период от своей родной страны, но так и не сумевших врасти корнями в каменистую заграничную почву. Под этим углом сборник может представлять интерес (как подсобный материал) не только для любителя поэзии, но и для *социолога*.

Каковы бы ни были дефекты и несовершенства этого сборника, думается, в нем присутствуют элементы подлинного творчества, искренние поиски художественной правды, крупица *того*, что высказал с вдохновенной силой Александр Блок:

О, я хочу безумно жить!
Всё сущее увековечить,

Безлично вочеловечить,
Несбывшееся воплотить.

Это святое хотение великого русского поэта – пусть с весьма скромными художественными достижениями – одушевляло и продолжает одушевлять участников сборника, который представляет частичный итог двухлетнего совместного труда – в изоляции, в условиях, удушавших всякую культурную деятельность, на пресловутом «*острове*».

Добавим к этому, что в числе участников этого сборника не отмечен член «*Пятницы*» Виталий Алексеевич Серебряков, принимавший самое непосредственное участие во всей организационной работе объединения, а также в выпуске этой книги.

Несмотря на вынужденную изоляцию «*Пятницы*» во время войны, здоровая общественность с культурными запросами и непобедимым стремлением поддерживать любое творческое начинание всегда оказывала нам свое содействие. Одним из деятельнейших представителей *такой* общественности и является В. А. Серебряков, организаторские данные которого постоянно обеспечивали нам возможность работать.

Роли В. А. Серебрякова мы не можем не отметить хотя бы потому, что она, несмотря на ее часто решающее значение, была и остается незаметной. Это мы и делаем с искренним хорошим чувством...

«МОИ ЭТО ГОДЫ, МОЯ ЭТО БОЛЬ И СУДЬБА!»

Жизнь и творчество Николая Щеголева в контексте судьбы «взыскующих поэтов» дальневосточного зарубежья¹

В мощном движении таинственных механизмов истории судьба отдельного человека – песчинка, в пределах одной семьи – целая эпоха. Из частной судьбы складываются судьбы поколений. А спустя какое-то время именно личной жизнью «одного из многих» поверяются исторические сюжеты, драмы и трагедии.

В конце XIX века геополитические прожекты России на Дальнем Востоке совпали со стратегическими интересами Китая, опасавшегося вторжения воинственной Японии. Началось строительство КВЖД, повлекшее за собой рождение посреди топких маньчжурских болот русского города – Харбина. Возникнув на месте ханшинной деревушки², Харбин

стал «расти как на дрожжах, стремительно, на глазах, как растут тополя в Маньчжурии, обрастать по берегу Сунгари новым городом и Фудзедяном и вокруг этими разными городками-спутниками – Нахаловкой, Корпусным городком, Чинхе, Гондаттьевкой»¹. Со всех концов России в этот край открывшихся возможностей хлынули коммерсанты, биржевики, рабочие, ремесленники – все те, кто мечтал улучшить материальное положение, по разным причинам спрятаться от власти, просто обмануть судьбу, начать новую жизнь. Судя по харбинской переписи 1903 года, в это время в столице КВЖД проживало 15579 русских подданных².

Вполне вероятно, что в эти переписные «скаски» попал тогда и Александр Владимирович Щеголев (род. 12.VIII. 1877) – уроженец села Чемоданово Мещерского уезда Калужской губернии, православный. Судя по анкете БРЭМ³, прибыл

ные и политические аспекты истории (первая половина XX в.). М.: НП ИД «Русская панорама», 2004. С. 82).

¹ Иванов Вс. [Из харбинского жития] // «Дело не получило благословения бога»: Публицистика и мемуары белых. Хабаровск: Кн. изд-во, 1992. С. 335.

² Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая. Указ. изд. С. 139.

³ Личное дело Щеголева Александра Владимировича в архиве БРЭМ. БРЭМ – Бюро по делам российских эмигрантов, созданное в Харбине после образования Маньчжу-ди-го, прояпонского марионеточного государства, в 1934 г. Одной из функций БРЭМ было осуществление контроля за настроениями русских эмигрантов. В этих целях были разработаны анкеты, состоящие приблизительно из 100 вопросов. После 1945 года архив БРЭМ попал в руки СМЕРШ и частично был передан на хранение в Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). В настоящее время материалы БРЭМ являются ценнейшим источниковедческим материалом. Об этом см.: Забияко А.А. Писатели русского Харбина в архиве БРЭМ //

¹ Работа выполнена в рамках проекта РГНФ 12-21-21001 а (м) «Русские и китайцы: межэтнические отношения на Дальнем Востоке в контексте политических процессов».

² На месте, где был впоследствии построен Харбин, первоначально стояло несколько заводиков по производству ханшина – дешевой китайской водки. О предыстории Харбина и его первых годах: Мелихов Г. Маньчжурия далекая и близкая. М.: Наука, 1991. Н.Е. Аблова высказывает предположение о том, что один из возможных вариантов названия города, переводимый как «красивая могила», возник потому, что рядом с ханшинными заводами часто находились кладбища маньчжуров, а близ них – красивые роши (Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международ-

А.В. Щеголев в «счастливую Хорватию»¹ как раз в 1903 году. Женился он еще в родных краях или супругу свою, Анну Ивановну², нашел уже в Харбине – неизвестно³. Устроился Александр на железную дорогу, работал там артельщиком в Управлении. Семья новоявленного железнодорожника поселилась в Новом городе, в Корпусном городке⁴, где в добротных двухквартирных одноэтажных («кэвэжэдэковских») домах с палисадниками проживали в основном рабочие и служащие дороги.

7 июня (по старому стилю) 1910 года у Щеголевых родился первенец – сын Николай⁵. Пока он учился и мучал, жизнь

Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 603–610.

¹ Так называли полосу отчуждения КВЖД в годы управления дорогой Д.Л. Хорватом (1903–1920).

² Щеголева Анна Ивановна (1884–1975). В 1910 году ей было 26 лет – по тем временам приличный возраст для рождения первенца.

³ Судя по дате рождения первого ребенка (отцу было уже 33 года), женился А. Щеголев, скорее всего, уже в Маньчжурии, будучи материально обеспеченным человеком.

⁴ Перелешин В. Поэт Николай Щеголев // Новое русское слово. 1975, 6 июля.

⁵ Из «Характеристики», данной Щеголеву для поступления в аспирантуру (Собрание З. и М. Пуляевских), узнаем, что он родился 20 июня (по новому стилю) «на станции Ирэкэ в Маньчжурии». Скорее всего, речь идет о станции Ирэкэ на линии КВЖД. Возможно, отец Щеголева, поначалу приехав в Харбин и устроившись там артельщиком, затем некоторое время служил на станции Ирэкэ. Возможно, там же он и нашел себе подругу жизни. У Щеголева были сестра Валентина (в замужестве Ким, 1912–1988) и брат Владимир (1924–1994), окончивший Харбинский Политехникум – одно из самых престижных учебных заведений в Северной Маньчжурии.

русского патриархального Харбина стремительно менялась. К счастью, Первая мировая война, революция и мятежное лихолетье Гражданской коснулись рядовых харбинцев лишь косвенно. Но после поражения в Великом Сибирском ледяном походе и падения ДВР (Дальневосточной республики) Харбин становится пристанищем для многих тысяч русских беженцев – бывших белопоходников, их семей, дальневосточной интеллигенции, предпринимателей и всех тех, кто не желал связывать свое будущее с большевиками¹. Поистине эсхатологическое потрясение – крушение всего жизненного уклада, утрата семьи, дома, отчизны, ужасы Ледяного похода – закончилось для дальневосточных беженцев неожиданным возвращением в «почти довоенную», «почти Россию». Эти новоявленные «русские китайцы» оказались практически в ситуации первотворения, когда могли не только заново «восстановить» былое, но и имели для этого лучшие, чем до революции, возможности: отсутствие фактической бедности, лояльность со стороны китайских властей, прозрачные границы с Россией, общество людей, полных креативной энергии. Впоследствии это дало возможность прийти к полусказочным утверждениям о том, что в Харбине «всё... было доступно, и все мы говорили по-русски, и все мы были равны. Именно там, в эмиграции, особенно среди молодежи, в гимназиях, на спортплощадках бесклассовое общество получилось само собой»². Л. Хаиндрова

¹ Справочник «Весь Харбин на 1923 год», ссылающийся на Земельный отдел КВЖД, указывает 165857 русских жителей Харбина (Весь Харбин на 1923 год / Под ред. С.Т. Тернавского. Харбин: тип. КВЖД, 1923. С. 94).

² Андерсен Л. Ларисса вспоминает... / Публ. Э. Штейна // Новый журнал. 1995. № 200. С. 315–326.

вспоминала спустя годы: «Харбин оставался старорежимным русским городом, и о нем можно было сказать “здесь русский дух, здесь Русью пахнет”. На Родине же происходило то, чему не было до сих пор примеров в мировой истории <...> А у нас в Харбине жизнь шла спокойно, размеренно, мы увлекались Цицероном и заучивали его речи наизусть...»¹

Правда, в одночасье статус патриархального «дореволюционного» Харбина кардинально изменился: «однажды, примерно в 1919 году, коренные харбинцы, проснувшись утром, узнали из газет, что они со своими чадами и домочадцами стали эмигрантами. Это было тяжелое пробуждение. Нужно было с этим примириться»². Коснулось это и ничего не подозревавших Щеголевых: им также пришлось определяться по отношению к новой власти на далекой родине. Как вспоминал В.А. Слободчиков, в пору его знакомства с Николаем (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) родители Щеголева не были настроены против Советов (очевидно, как и многие «кэвэжедековцы»)³. Из личного дела отца, Александра Владимировича, следует, что поначалу он стал советским подданным (видимо, после 1924 года, когда было подписано советско-китайское соглашение и для многих харбинцев встала проблема гражданства)⁴. Правда, впоследствии он подал ходатайство о переводе в эмигрантское

состояние, и оно было удовлетворено. Упокоиться ему, очевидно, пришлось всё же в земле маньчжурской¹.

Мы не знаем, каким мальчиком рос Коля Щеголев, позднее в поэтических кругах Харбина и Шанхая снискавший славу «бедокура» и «самого талантливого из молодой поросли». Но в целом его путь вполне укладывается в судьбу многих детей эмиграции. Дороги было две – дальнейшее продвижение на Запад, ближе к американскому континенту или Австралии, либо возвращение на родину. А там изменилась не только государственная система – менялся антропологический тип человека. Потому и старались родители дать своим детям все возможности, чтобы тем не пропасть и найти себе применение в странах рассеяния. Как видно, достаток в семье Щеголевых был, а родители внимательно относились к воспитанию и образованию своих чад: Николай закончил Коммерческий колледж ХСМЛ², в совершенстве овладел английским языком, имел не

¹ Сведений о кончине А.В. Щеголева и месте его захоронения нет. В семейном некрополе Щеголевых его могила отсутствует.

² Перелешин В. Поэт Николай Щеголев. Указ. изд. В сведениях о ХСМЛ (Христианский Союз Молодых Людей) нет упоминания о входящем в его структуру Коммерческом колледже. В объявлении об отделах и учебных заведениях ХСМЛ говорится о коммерческом отделении Колледжа – наряду с английским, педагогическим и отделением немецкого языка (Чураевка. 1932. № 7 (1), 27 дек. С. 6). Конечно, речь может идти и о Харбинском коммерческом училище, открытом в 1906 году и предназначенном, в первую очередь, для детей служащих КВЖД. Училище считалось гордостью города, фактически состояло из женского и мужского училищ. Обучение в нем, в отличие от дореволюционных коммерческих училищ в России, велось по расширенной программе (8 лет) и давало право выпускникам поступать в университет. Наряду с общеобразовательными дисциплинами мальчики изучали английский, немецкий, китайский и латынь (Русские в

¹ Хаиндрова Л.Ю. Сердце поэта. Калуга, 2003. С. 273.

² Хаиндрова Л.Ю. В Харбине – городе детства // Хаиндрова Л.Ю. Указ. изд. С. 210.

³ Слободчиков В.А. Интервью А.А. Забияко. 22.10.2003, Москва // Личный архив А.А. Забияко.

⁴ Об этом: Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политические аспекты истории (первая половина XX в.). М., 2004. С. 126–127.

просто законченное, а блестящее музыкальное образование по классу фортепиано¹.

Когда проснулась в коренном харбинце тяга к сочинительству, неизвестно. Но увлечение литературой и первые размышления о ее природе настигают юношу очень рано. Едва повзрослев, он уже писал о своей недавней детской любви к Лермонтову: «Стихотворение “Сидел рыбак веселый на берегу реки” – первое стихотворение, действовавшее на меня особую музыкой. Позднее, в третьем, четвертом классе среднеучебного заведения выбили во мне огромный незаживающий след те стихотворения, что обычно производят впечатление на гимназистов этого возраста. Разумеется, это было “И скучно, и грустно, и некому руку подать”, которое я и теперь считаю лучшим стихотворением Лермонтова», хотя мода на него проходит, и особенно “Выхожу один я на дорогу”. Из поэм выделились “Мцыри” и “Песня про купца Калашникова”».

Китае. Исторический обзор / Под общ. ред. и с предисл. А.А. Хисамутдинова. Шанхай, 2010. С. 55). Подробно об организации учебного процесса в Харбинском коммерческом училище: Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая. Указ. изд. С. 242–251. В биографической справке о Щеголеве, написанной неизвестным лицом (Собрание 3. и М. Пуляевских), указано: «Он окончил Коммерческое училище, лучшее в городе, колледж ХСМЛ, музыкальную школу им. А.К. Глазунова (рояль)».

¹ Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В.П. Крейд, О.М. Бакич. М.: Время, 2001. С. 699 (далее – Русская поэзия Китая с указанием страниц). Скорее всего, речь идет об одной из музыкальных школ им. А.К. Глазунова, Первой Харбинской музыкальной школе, основанной в 1921 году и расположенной как раз в здании Коммерческого училища, где мог учиться Щеголев. Программа обучения в этой школе соответствовала программам российских консерваторий Императорского Русского музыкального общества (Русские в Китае. Исторический обзор. Указ. изд. С. 58).

Помнил Щеголев и о других литературных потрясениях: «В шестом классе среднеучебного заведения я впервые натолкнулся на Леонида Андреева. Этот писатель тогда свел меня с ума... Всё, что я мог достать здесь Андреева и об Андрееве, я перечел, как в лихорадке. Пожалуй, меня захватил не сам Андреев, а какой-то иной мир, начавший мне приоткрываться через Андреева»¹.

В это же время, благодаря чтению Андреева, а затем знакомству с символистскими воспоминаниями о нем, юный Щеголев узнает и об Андрее Белом, постигает смысл его литературно-эстетических сочинений: «Я стал вникать в этот мир. В этом мире люди “летают на звуках”, в этом мире я почему-то всегда видел огромного человека непременно с изумленными очами и лбом величиною с купол. Это был Андрей Белый, хотя в то время я еще не знал, как он выглядит...»²

Итак, в 12–13 лет – Лермонтов, затем, в 14–15 – Андреев, Блок, Белый... Для формирования художественных ориентиров эстетическая парадигма весьма стройная, последовательная. И с самой юности – способность создавать эмоциональный облик очередного кумира из слов и строк его сочинений. Более поздние статьи Щеголева, стихотворения, эпитафии свидетельствуют, что в юности читал он и Пушкина (которого очень хорошо знал), Гоголя, Достоевского, Толстого, Кольцова, Некрасова, Надсона. Любовь к Маяковскому пронес через всю жизнь. Его дипломное сочинение, посвященное творчеству Маяковского и защищенное в Свердловском госуниверситете в 1953 году, было

¹ Щеголев Н. Памяти Андрея Белого // Чураевка. 1934. № 11 (5), февр. С. 4.

² Щеголев Н. Памяти Андрея Белого. Указ. изд.

позднее опубликовано в московском издательстве в качестве пособия для учителей¹.

Взросление Щеголева и его творческое становление счастливо совпали с возникновением в Харбине литературного объединения «Молодая Чураевка». Созданная сибирским казаком, георгиевским кавалером-белопоходником Алексеем Ачаиром, «Чураевка» вошла в историю эмигрантских объединений как совершенно уникальное образование, где вопросы художественного мастерства поднимались наравне с вопросами духовного воспитания, где закладывались основы будущей самостоятельной деятельности питомцев (не случайно Ю.В. Крузенштерн-Петерек назовет свои воспоминания «Чураевский питомник»)². Роль Ачаира как доброго наставника харбинских «птиц певчих»³ трудно переоценить. Собрав под своим отеческим крылом молодых ребят, в ситуации безвременья ищущих применение своей энергии, он обеспечил идеальные условия для их творческого развития и самовыражения. Ачаир органично воспроизвел атмосферу Серебряного века в ее харбинско-чураевской миниатюре, продолжил салонную культуру с мелодекламациями, чтением стихов своих и чужих, докладов о художественном творчестве с их последующим обсуждением⁴. В «Чураевке» работала литературная студия,

художественный сектор (куда приглашались все известные в городе художники, курирующие «молодых работников, изучающих живопись»), театральная студия (где «опытными театральными работниками» читались доклады «по вопросам театрального искусства»), а также музыкальная и вокальная секции, проводившие свои показательные открытые вторники, посвященные отдельным композиторам (Григу, Скрябину и т.д.)¹. Позднее была открыта общественно-научная секция. Все, кто был мало-мальски одарен – в сочинительстве, музицировании, пении, художественном чтении, – имел возможность проявить себя и услышать либо восторженную похвалу, либо доброжелательную критику. «Так сочетаются в одно целое – Литература, Наука и Искусство. И так – творческая молодежь продолжает культурную традицию нашей любимой Родины, Традицию Национальной Культуры...» – отмечал в восьмую годовщину «Чураевки» ее организатор².

Литературная студия собиралась еженедельно по вторникам в 8 часов вечера в здании ХСМЛ. «Присутствуют желающие из действительных членов кружка, члены-сотрудники и иногда специально приглашенные из посторонних. Обычно сначала прочитывается проза, затем стихи <...> Благодаря порядку, выработавшемуся в течение ряда собраний, автор получает почти исчерпывающую оценку своих произведений присутствующими членами кружка», и хотя эти оценки «не всегда бывают лестными для авторов, но здоровая атмосфера дружеской, хотя подчас и суровой критики, почти никогда не

1 Щеголев Н.А. Художественное мастерство В.В. Маяковского в поэме «Хорошо!». Пособие для учителей. М.: Учпедгиз, 1956. 79 с.

2 Крузенштерн-Петерек Ю.В. Чураевский питомник (о дальневосточных поэтах) // Возрождение. 1968. № 204. С. 45–70.

3 Ачаир А. Птицы певчие (О харбинских поэтах и поэтессах) // Харбин в зеркале прессы. 1939. № 2. С. 6–7.

4 Об этом: Забияко А.А. Тропа Судьбы Алексея Ачаира: Монография. Благовещенск, 2005.

¹ [Б.п.] Работа по студиям // Чураевка. 1932. № 7 (1), 27 дек. С. 5.

² Ачаир А. Перед началом // Чураевка. 1933. № 10 (4), 14 нояб. С. 1.

нарушается», – писалось в газете «Чураевка»¹. В разные годы в состав Литературной студии входили Н. Светлов, Н. Петерс, Г. Гранин, Л. Андерсен, Л. Хаиндрова, Вл. Слободчиков, О. Тельтофт, М. Волин, В. Перелешин и др.

Молодежи было дано право самой выбирать кумиров – не по воле партийного циркуляра, а по велению сердца и собственного художественного чутья. Здесь увлекались попеременно Блоком, Гумилевым, Северянином, Маяковским, Пастернаком, Волошиным... Вот как пишет об этом В. Перелешин в «Поэме без предмета»:

Всех уголков гостеприимней
в Х.С.М.Л. тогда слыла
учительская. Стужи зимней
мы, раскалившись добела,
не замечали. Облаками
табачный дым ходил над нами,
и в гуле звонких голосов
терялся бой стенных часов.
Пока прочитывалась проза,
которой не блистал Харбин,
мы стыли, но быстрее льдин,
внесенных в кузницу с мороза,
оттаивали: добрый грог –
рифмованных струенье строк.

(Песня первая, строфа XLV)²

¹ Работа по студиям. Указ. изд.

² Перелешин В. Поэма без предмета / Под ред. и с предисл. С. Карлинского. Холиок: Нью Ингланд Паблшинг К., 1989. С. 57.

Молодые нуждаются в единящем их начале. Это особенно становится очевидным во времена социального разброда и утраты духовных ориентиров. Благотворная, созидаящая роль «Чураевки» сказалась в воспитании целого поколения русских юношей и девушек, выброшенных историей на обочину эмиграции. Декларативно это была идеологическая платформа ХСМЛ (УМСА), базирующаяся на идее о том, что «быть христианином – значит верить во Христа и жить согласно его учению, следовательно, не только личная жизнь человека, но и социальная и экономическая жизнь народов должна быть согласуема с христианскими принципами»¹. Алексей Ачаир же как русский секретарь считал руководящими принципами «Чураевки» идеи сибирского регионализма, неотделимые от «Живой Этики» Н. Рериха². Но в практической плоскости весь спектр идейных ориентиров преломлялся в многоуровневой системе воспитания и образования русских ребятишек в духе добра, справедливости и уважения к своим национальным корням.

Известно, что юная поросль харбинцев, зачастую вообще не знавшая России, не вполне понимала Ачаира: «сибирские идеи» руководителя «Чураевки» не были ей близки. Постепенно

¹ Лякер Н. Христианский Союз Молодых Людей // Чураевка. 1932. № 7 (1), 27 дек. С. 6.

² Об этом: Забияко А.А., Крыжанская К.А. Переписка А. Ачаира и Г. Гребенщикова: Идеи «сибирского регионализма» в контексте индивидуальной религиозности харбинского поэта // Россия и Китай на дальневосточных рубежах: Русские и китайцы: региональные проблемы этнокультурного взаимодействия: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Вып. 9. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2010. С. 197–219.

ретивые чураевцы стали томиться под отеческим покровительством наставника. В общем, возникла хрестоматийная коллизия тургеневских нигилистов и их долготерпеливых родителей¹. Однако сегодня вполне очевидно, что именно мудрое руководство Ачаира дало такую свободу мысли и обеспечило развитие «иного» вкуса «харбинских юнцов» («шантрапы», по выражению Ачаира), выбор ими альтернативных, по сравнению с «отцами», путей развития. И связаны эти ориентиры были, несмотря ни на что, с русской литературой и культурой².

Полноправным членом «Молодой Чураевки» Коля Щеголев становится примерно в шестнадцать лет, одним из первых придя в кружок, образованный Ачаиром в 1926 году. Плохо сохранившаяся фотография запечатлела внешний облик юного поэта: широкоскулое лицо, открытые глаза, нос чуть картошкой, задорная улыбка и буйный темно-русый вихор. Щеголев часто выступает на открытых собраниях литературной студии, иногда читая сразу по пять новых стихотворений, а также готовит литературные доклады.

Своего чураевского первенца вместе с его другом Николаем Светловым³ упоминает в статье «Наш кружок», посвященной

семилетию «Чураевки», и сам основатель объединения: «Некоторые удивлялись: как это так скоро они стали поэтами?.. Не рано ли?.. Но эти двое отвечали своими стихами на недоумевающие вопросы гораздо более убедительно, нежели можно было ответить прозой»¹.

Весьма любопытны воспоминания о Щеголеве той поры, оставленные Ю.В. Крузенштерн-Петерец: «Помню – тогда еще стройный, шестнадцатилетний, читает он, слегка картавя, слегка нараспев, свои стихи на смерть Маяковского:

Маяковский, неправда, не ты
Нам бормочешь из темноты:
– Я не первый и я не последний.

– Ужасно люблю этого мальчишку, – говорил о нем Ачаир. – Посмотрите, лоб-то, лоб какой крутой. Ох, натворит бед»².

Будущая мемуаристка (по ее же словам) попала в «Чураевку» достаточно поздно, в 1930 г., и была «перестарком»³. В том же году погиб Владимир Маяковский. Поэтому совершенно ясно, что Щеголев из воспоминаний Ю.В. Крузенштерн-

газетах «Рупор», «Шанхайская заря», «Новый путь», «На Родину». Автор сборника «Сторукая» (Шанхай: изд. «Шанхайской Чураевки», 1934. 57 с.). Председатель шанхайских отделений «Чураевки» и «Союза Возвращенцев». В 1947 г. репатриировался в СССР (Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае. Указ. изд. С. 241).

¹ Ачаир А. Наш кружок // Чураевка. 1933. № 9 (3), 28 марта. С. 2.

² Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания // Россияне в Азии. 2000. № 7. С. 138.

³ Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания. Указ. изд.

¹ Подробно об этом: Забияко А.А. «Дело о «Чураевском питомнике» (новые штрихи к известной истории харбинского поэтического объединения) // Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 6. С. 170–186.

² О работе «Чураевки»: Слободчиков В.А. «Чураевка» // Русский Харбин. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. С. 73–77; Ли Мэн. Харбинская «Чураевка» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2012. С. 167–182; Забияко А.А., Крыжанская К.А. Переписка А. Ачаира и Г. Гребенщикова. Указ. изд.

³ Светлов (Свинин) Николай Федорович (1909–1970) – харбинский, затем шанхайский поэт. Печатался в журналах «Рубеж», «Парус», «Прожектор»,

Петерек – уже двадцатилетний молодой человек. Но его психологический портрет дан весьма метко.

Отношения между юными поэтами в «Чураевке» были сложные – попробуйте привести к общему знаменателю столько разносторонних дарований! Однако Щеголев, видимо, выделялся среди многих поэтов почти с самого начала, заработав соответствующую своей личности эпиграмму:

Поэт не дюжий, юный, ранний,
Характер страстный, павианий,
Ни Блок, ни Пушкин и ни Гоголь,
А только просто Коля Щеголь¹.

Валерий Перелешин, пришедший в «Чураевку» много позже Щеголева, в 1932 году, вспоминает атмосферу тех встреч:

Я, будущий поэт российский,
там изучил в короткий срок
мірок харбинско-олимпийский,
тепличный маленький мірок.
Во дни чураевских парадов
не слушал тошных я докладов,
но за стихи – зоил, не тронь! –
бросался в воду и огонь.
Вот Щеголев сухой и едкий,
вот Гранин томный, вот Сергин –

¹ Цит. по: Штейн Э. Примечания (сведения о поэтах) // Остров Лариссы. Орендж, 1988. С. 134–135.

красивый пустельга один,
другой – взволнованный и меткий.

(Песня первая, строфа XXXVIII)¹

А в парижской критике имя Щеголева удостоилось иронических замечаний из уст самого Г. Адамовича в связи с тем, что кто-то в Харбине умудрился соположить это имя с именем... Александра Блока: «Трудно не усмехнуться, например, читая о каком-то местном начинающем стихотворце, что он “находится под сильным влиянием Александра Блока и Николая Щеголева”. Кто это – Николай Щеголев? Оказывается, харбинский поэт и один из виднейших сотрудников “Чураевки”. О нем до сих пор, признаться, мы не слышали... Но, может быть, и здесь, в Париже, нам, с харбинской точки зрения, случается иногда попадать в столь же смешное положение, и там они удивляются “абберации зрения” так же, как мы здесь»². Как бы ни ерничал Адамович, видимо, личность юного харбинского поэта была незаурядной, и не только в масштабах харбинских.

Стихотворные дебюты Щеголева, очевидно, состоялись в 1930 г. в журнале «Рубеж» («Стансы», «В кинематографе», «За временем», «Память видит»). Там же появляется и первый рас-

¹ Перелешин В. Поэма без предмета. Указ. изд. С. 54. Характеристики, данные Перелешиним Г. Гранину и С. Сергину, вряд ли стоит принимать серьезно, по крайней мере – однозначно. С данными поэтами у автора «Поэмы без предмета» были сложные личные отношения. Об этом пишет, например, М. Волин в своих воспоминаниях: Волин М. Гибель «Молодой Чураевки»: Воспоминания / Публ. Э. Штейна // Новый журнал. 1997. № 209. С. 216–240.

² Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1934, 29 марта. С. 2.

сказ «Телеграмма»¹. Но амплитуда его интеллектуальной, творческой и организационной активности обозначилась в 1931 г. с выходом в свет первого номера «Молодой Чураевки» (пока – в качестве страницы литературной студии и кружка «Молодая Чураевка ХСМЛ», еженедельного приложения к «Харбинским Ежедневным Новостям»). Наиболее вероятно, что именно Щеголев писал передовую статью к первому номеру издания под названием «Перед началом». Там, в частности, говорилось: «не ищите в этом листке бодрости в обычном смысле этого слова. Разумеется, в нем будет ощутима молодость, заносчивость, вероятно, будет ощутима и сила, но несвободная и невеселая сила, которой пока некуда приткнуться. Препятствия одно к одному, одно к одному, – и современность, которой не к лицу поэзия, и сугубо трудные условия для развития литературы на Дальнем Востоке при полном отсутствии здесь серьезных литературных изданий, и внутренние причины, из которых – мы не в России – самая главная». А рядом было опубликовано его же метапоэтическое раздумье «Всем мои стихи доступны, – всем ли?..», в опосредованной форме перекликающееся с передовицей.

Ачаир фиксировал: «Николай Щеголев быстро становится председателем литературной студии и одним из лидеров поэтической молодежи»². Действительно, Щеголев занял место председателя студии после отъезда в Шанхай своего друга Н. Светлова³. Он же был назван одним из руководителей литературной студии в сезоне 1930–1931 гг., которые (вместе с

неким С.М. Бережновым-Агмадовым) «отлично справлялись с намеченными с осени планами, проводя еженедельные литературные пятницы»¹. В открытых собраниях того же сезона Щеголев выступил с докладом «Две ветви русской поэзии», посвященным десятилетию со дня смерти Блока и Гумилева.

Каков он был в эти годы своего бурного формирования как поэта и критика? О Щеголеве тех лет вспоминает В. Перелешин: «Был очень мягок, никого своими высказываниями не огорчал. На открытых собраниях – по вторникам – держался с достоинством. Простым золотоволосым юношей становился, когда мы собирались в кабачке Шатровой за углом от здания ХСМЛ: там проводили много часов Щеголев, Лапикен, Слободчиков, Вова Померанцев, Юра Гранин, Миша Волин, да и я с ними.

После открытых “вторников” и закрытых “пятниц” мы всё никак не могли наговориться. Провожали друг друга – то на Пристань, то в Мацзягоу, то в Корпусной городок, где жил с отцом, железнодорожником, матерью, братом и, кажется, сестрой Коля Щеголев. Помню наши бесконечные разговоры – его восхищение Андреем Белым, прозой Бунина и Сирина, его мечты выписаться в хорошего прозаика»²:

Нам этой жизни было мало:
напрасно женщина качала
бессмысленную колыбель, –
манила нас иная цель.
Я о кресте мечтал и розе,
Сергин – о музыке небес,

¹ Рубеж. 1930. № 45. С. 1, 2, 4.

² Ачаир А. Наш кружок // Чураевка. 1933. № 9 (3), 28 марта. С. 2.

³ Гранин Г. Сезон 31–32 гг. // Молодая Чураевка. 1932, 3 июля. С. 1.

¹ Там же.

² Перелешин В. Поэт Николай Щеголев. Указ. изд.

чтоб отступил упрямый бес,
а Щеголев – о звонкой прозе,
чтоб Сири́н завистью пылал,
а Бунин ахал и вздыхал.

(Песня первая, строфа LXXIV)¹

Известным прозаиком Щеголев так и не стал, несмотря на опубликованные в «Чураевке» «отрывки из романа» «Случай в парке» и роман, написанный в шанхайскую пору и появившийся в журнале «Сегодня» под названием «Из записок одиночки». Но уже второй номер «Молодой Чураевки» содержал «стихотворение в прозе» Щеголева «Полдень». Поэт избрал оригинальный жанр стихопрозаического отрывка, едва ли догадываясь о столь удачной художественной реализации в новой для русской литературы форме. Это произведение пародировало и «испитого Вертинского», и щеголевских молодых коллег по цеху, увлеченных темой «смерти в двадцать лет». Почему именно Вертинский стал объектом иронии? В эти годы в дальневосточном зарубежье образ «Печального Пьеро» обрел фантастически популярные масштабы. Если в русском Париже М. Кантор и Г. Адамович даже не помышляли о причислении Вертинского к разряду поэтов, то в русском Харбине он нашел не только много талантливых поклонников особой «вертинской интонации» (включая, например, А. Паркау, А. Ачаира, М. Колосову)², но и стилизаторов, и просто эпигонов. «Полдень» Щеголева ис-

полнен более глубоким смыслом, нежели только аллюзивные намеки на Вертинского. Один из персонажей, беллетрист, раздраженно замечает: «За что я, несчастный, должен всё подхватывать зорким своим взором, слышать чутким своим слухом всё, что выбрасывает мир?», – не понимая (или не принимая?) того, что умение всё видеть и слышать на самом деле является редким даром, присущим только избранным художникам. Это произведение выявило художественное кредо Щеголева, в котором сам поэт и его творчество объявлялись полноценными героями литературного текста – так же, как впоследствии у прославленных Пастернака, Набокова, Газданова¹.

В пору чураевского взросления Щеголева эта установка обозначилась в настойчивом сопряжении декларативных посылов и поэтических опытов. Четвертый номер «Молодой Чураевки» опубликовал передовицу Щеголева «О роли слова»² в «содружестве» с программным стихотворением «Опыт» (наиболее цитируемым у Щеголева). Не зная теории языковой концептуализации, развитой много позднее, Щеголев размышляет о тех словах, которые претят либо импонируют отдельному человеку, а иногда целому поколению. При этом ритмический

¹ Забияко А.А. «Полдень» Николая Щеголева: «поэзия в прозе» и проза поэзии // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 5. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2003. С. 329–334.

² Как и передовая статья первого номера – «Перед началом», заметка «О роли слова» вышла без указания авторства. Г. Гранин свои статьи подписывал с самого начала, Ачаир писал статьи «идеологического» характера либо отечески-ободряющие. Уверенности в том, что указанные заметки принадлежат перу Щеголева, способствует и особая стилистика статей, их теоретический характер, а также обозначенный читательский кругозор автора.

¹ Перелешин В. Поэма без предмета. Указ. изд. С. 72.

² Об этом: Забияко А.А., Эфендиева Г.В. Вертиниада русского Китая (образ А. Вертинского в литературе восточного зарубежья) // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2004. № 4. С. 152–162.

зачин статьи (3-стопный дактиль с цезурой на третьей стопе) совпадает с ритмическим рисунком стихотворения (случайно или нет?), не говоря уже о концептуальной рокировке посылами: «Ненавидеть слова... [ср.: «Одиночество – да! Одиночество злее марксизма!» – А.З.]. Иногда в ненависти не к тому, а иному слову сказывается весь человек. Но не только в ненависти, еще более он сказывается в любви, в пристрастии к определенным словам. Человек повторяет любимые слова вслух и про себя, они произвольно внедряются в сознание, порой гипнотизируют»¹.

Словно предвидя семиотические возможности «материализации слова», Щеголев размышляет: «Какою ураганною музыкой разносилось в 1917-ом году слово “революция”! Читаешь алдановский “Ключ” и не в силах отделаться от странной мысли, что и революция-то, возможно, потому и приключилась, что это слово звенело тогда во всех ушах, во всех телефонных трубках. Словом “революция” растили подлинную революцию»². Конечно, в этих интуициях он был не одинок – о материальной силе слова раздумывали в ту пору и обэриуты: «*Стихи надо писать так, что если бросить стихотворение в окно, то стекло разобьется*»³.

Щеголев был весьма плодовитым и разносторонним автором. В принципе, такой разносторонностью отличались и другие талантливые «харбинские юнцы», например – Н. Петерек и Г. Гранин. Потому, наверное, между чураевцами было уста-

новлено соглашение – печататься через номер. Либо это был тот порядок, когда то Н. Щеголев, то Н. Петерек, то Г. Гранин отвечали за очередной выпуск и составление номера. И тогда уже они целиком реализовывались как «выпускающие редакторы». В шестом номере «Молодой Чураевки» было помещено сразу две статьи Н.Щ. и Н. Щ-ва: «О детективных романах» и «О Марианне Колосовой»¹.

Среди отзывов на лирику Колосовой² заметка Щеголева отличается сочетанием импрессионизма с формальным методом, для той поры новаторским: «Несомненно, ею должна гордиться боевая часть дальневосточной русской эмиграции, которая, кроме Колосовой, не выдвинула из своей среды не то что поэта, но и грамотного стихотворца. Марианна Колосова в курсе современных формальных достижений: прекрасна и точна рифмовка, выразительны и разнообразны ритмы, начиная от кольцовских трехстопных хореев с женскими окончаниями, кончая проникновенными тяжкими ямбами, особенно пятистопными. Всё подточено, подчищено до приятной (изредка неприятной) гладкости». Опережая харбинского мэтра А. Несмелова, за внешней «динамитностью лирики» Колосовой, ее «действительностью» Щеголев проникает и непреходящий лиризм, который «незаметно вгрызается в душу».

¹ Молодая Чураевка. 1932. № 6, 6 авг. С. 1–2.

² Варяжский гость. Книга стихов Марианны Колосовой // Заря. 1931. № 17. С. 4; Несмелов А. Марианна Колосова. Вторая книга стихов. Харбин // Врата. Кн. 1. Шанхай, 1934. С. 200–201; Ачаир А. Марианна: литературный портрет // Чураевка. 1934. № 9. С. 6; К.Б. Марианна Колосова «На звон мечей». 4-ая книга стихов. Харбин. 1934 // Врата. Кн. 2. Шанхай, 1935. С. 258.

¹ О роли слова // Молодая Чураевка. 1932, 3 июля. С. 1.

² Там же.

³ Хармс Д. Записные книжки. Дневник: в 2 кн. / Подгот. текста Ж.-Ф. Жаккара и В. Н. Сажина. СПб.: Академический проект, 2002.

Следующая статья – о пресловутых детективных романах. Критический пафос Щеголева, направленный на «бульварных» авторов, постепенно перерастает в раздумье о путях развития эмигрантской прозы и литературы в целом: «занимательностью современные писатели пренебрегают: они пишут не романы, не рассказы, а какие-то плохо спаянные фрагменты, лирические по большей части». Пути избавления от «кровавых призраков» и «черных ручек» он видит в том, чтобы «начать перестраиваться психологически, будить в себе заколдованную коммерческую жилку», присмотревшись к Пушкину и Достоевскому, «который всегда остро присматривался к бульварным писателям типа Эжена Сю, потому что хотел, чтобы его романы помимо внутренней ценности обладали внешней занимательностью!» Очевидно, что Щеголеву было присуще понимание не только глубинных исторических закономерностей, но и перспектив развития литературного процесса. В эти годы, когда коренным образом изменилась социология чтения, бурные дискуссии о новой адресации литературы, споры о новой сюжетике прозы и проблеме ее беллетризации развернутся и в метрополии, и в эмиграции¹. Как видно, Щеголев не просто находился в русле этих акту-

¹ Об этих процессах в метрополии: Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: Становление института советской литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 504 с.; В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 608 с. О путях развития беллетристики в восточной ветви русского зарубежья: Забияко А.А. На проселочных дорогах русской литературы: Казус харбинской беллетристики // Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1: Проза; в 2-х частях. Ч. 1 (А–М). Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. С. 3–22.

альнейших проблем, но и обнаружил недюжинный талант литературоведа-теоретика.

Здесь для него не было иерархии – будь то признанный писатель в метрополии, в западной ветви эмиграции или же свой, харбинский автор. Так произошло с критическим анализом романа В.С. Яновского «Мир»¹. Щеголев находит у автора многочисленные влияния русских и советских авторов – Бунина (как «остатки литературной выучки, внешнего лоска»), Достоевского, Андреева (видимо, «Жизнь Василия Фивейского»), Пильняка (возможно, «Голый год», причем Щеголев выявляет практически буквальные совпадения некоторых натуралистических образов). Тем не менее, юный харбинский критик не спешит напрямую развенчивать парижского автора. Он довольно двусмыслен и ироничен: «Уходишь от романа с одним иллюзорно утешительным выводом о живучести людей, ухитряющихся существовать даже при таких физических и психических условиях, созданных автором этой нужной, своевременной, но почти отталкивающей книги»².

Двумя годами позже, будучи уже сам автором парижского альманаха «Числа», он даст довольно трезвый анализ этого недавно вышедшего номера: «Печальны, проще, чем всегда, достойные “Чисел” стихи Юрия Мандельштама. Сухим блеском сверкают стихи Оцуа, колоссально сконцентрированные, скупые и холодные. Что-то от Некрасова есть в них, какая-то небывалая смесь временного и вечного, фельетона и самой

¹ Н. Щ-ев. Мир. В.С. Яновский. («Парабола», Берлин. 1931) // Молодая Чураевка. 1932. № 4. С. 4.

² «Нужная книга! Своевременная книга!» – хрестоматийная реплика В.И. Ленина по поводу романа М. Горького «Мать».

углубленной лирики. Противоположность Оцупу – Поплавский, безвольный, расплывчатый, очень часто восклицаящий и всплескивающий руками по-детски беспомощно. София Прегель едва ли не единственная из числовцев, которая умеет и любит описывать вещи. Свое детство она помнит именно в вещах. Стих прост и искусен, – быть может, эта искусность замечается потому, что стихи не поют, не кричат “о самом главном”, а описывают. Стихи Раевского торжественно задают, как философские проблемы. Этому вполне соответствует их суровость. Червинская радует еще более, чем в прошлых книгах. Это нелогичные стихи (стихи могут быть и логичными) плывущих образов, всегда жалостных, сумеречных, и между ними в скобках всегда есть “о самом главном”. *О Щеголеве, как об участнике “Чисел”, говорить еще слишком рано* [курсив мой. – А.З.]»¹. Читательский кругозор Щеголева – Голсуорси (роман «Человек Собственности»), Пруст, Эренбург. Читал он и Ремизова – «чудака, наделенного величайшим словесным мастерством», понимал природу «чудной» ремизовской прозы, в которой «лица вымышленные разговаривают с лицами невымышленными, имя какого-то Василия Куковникова тесно сплетается с именем Льва Шестова»², испытывал интерес к литературной публицистике.

С самых первых литературно-критических статей Щеголева проявляется не только его начитанность, но и свободная

ориентация в разнонаправленных современных подходах к критике литературного произведения – от импрессионизма до формализма. И в этом Щеголев весьма органичен. Особенно показательна статья, посвященная Лермонтову: «Стихи поэта почти всегда срастаются с его земным обликом, поэтому, перед теперешним перечитыванием Л., я долго вглядывался в портрет этого человека, одетого по-военному, с лицом каким-то восковым и с мертво опущенными, как бы свинцовыми веками».

«Лермонтов подарил мне много высоких переживаний», – признается Щеголев и продолжает: «Я так внимательно останавливаюсь на своих внутренних процессах, предшествующих перечитыванию Л., потому что мне хочется высказать свое впечатление от Л. и указать значение его и влияние на мою личную жизнь»¹. Читал ли Щеголев работы В. Соловьева и Д. Мережковского², неизвестно. Но важны не содержательные совпадения харбинского юноши с критиками Серебряного века, а его самостоятельные суждения.

Стилистические, грамматические несообразности, отмеченные в лирике Лермонтова, не умаляют в глазах Щеголева значение его личности для русской литературы. Юный поэт пытается понять природу лермонтовской «тоски» и видит ее, во-первых, в «личной задетости»: «Кто, как не сам Лермонтов, был обломком рода, обиженного игрою счастья». Но Щеголев

¹ Щеголев Н. Мысли по поводу Лермонтова // Чураевка. 1933. № 8 (2), 7 февр. С. 4–5.

² Соловьев В.С. Лермонтов (1899) // Соловьев В.С. Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 273–406; Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. Т. 10. СПб.–М.: изд. т-ва М. О. Вольф, 1911. С. 288–334.

¹ Н. З-ов. Числа IX. Париж // Чураевка. 1933. № 4 (10), 14 нояб. С. 4. Н. З-ов [Николай Зерцалов] – один из псевдонимов Щеголева, который подписывался также «Н. Щ-в», «Н.Щ.». Об этом: Перелешин В. Русские дальневосточные поэты // Новый журнал. 1972. № 107. С. 255–262.

² Н. З-ов. Числа IX. Париж. Указ. изд.

не склонен релятивистски оправдывать этим желчность и беспокойность поэта. «С Л. поэты привыкают быть ослепленными своими страданиями и страстями. <...> Л. отнесся к себе небрежно сам, скорей, даже не небрежно, а злобно, почти как враг. Он был в вечном с собою разладе, и вся жизнь его при пристальном рассмотрении представляется перманентным самозамариванием, саморазрушением. Он вел ненормальный образ жизни – то ночные оргии, то ночная работа. Но к этому приспособилось бы его железное тело, если б не примешивалась еще причина психологического характера. Л. никогда внутренне не давал себе свободы в противоположность непосредственному Пушкину. <...> Скованность сквозит в выборе тем Лермонтовым, он значительно однообразней Пушкина и почти всегда выражает равнодушие ко всему, – самая пагубная для поэта черта. <...> Безочарованием Л. сковал свой мозг так, что потом не стало сил освободиться».

Феноменологические реконструкции поэтического мира великого предшественника помогают восстановить Щеголеву и версификационную природу лермонтовского творчества. Так, байронизм Лермонтова, по мнению харбинского поэта-стиховеда, дал весомые «ритмические плоды»: «Это он впервые принес размерные перебои, характерные для английского стиха, но в русском языке считавшиеся недопустимыми настолько, что даже после Лермонтова поэты не решались их употреблять, пока их не узаконили совсем недавно символисты». Мужская рифма – также «байроническое наследие» в творчестве Лермонтова и его открытие для русской литературы, подчеркивает Щеголев: «Мужская рифма вообще менее свойственна русскому языку, в которой наибольший процент слов имеет ударение на

втором и третьем слоге от конца слова, нежели на последнем». Щеголев подчеркивает, что нарочитые «самосковываемость, самоурезывание, самоограничение» придали поэме «Мцыри» «особую выразительность». Молодому критику в ту пору только-только исполнилось 22 года.

Сравнивая музу Пушкина и музу Лермонтова, Щеголев печально констатирует отсутствие у большинства поэтов пушкинской гармоничности: «Сколь с этой точки зрения ясней нам Л., внесший в русскую литературу хаос своей путаной души. Да, – начиная с несчастного, вечно двадцатишестилетнего Михаила Юрьевича Лермонтова, русская литература стала самой иступленной и самоуглубленной из всех европейских литератур. Не от него ли пошла аскетическая муза мести и печали Некрасова и современная околдовывающая муза, питавшаяся цыганскими надрывами, “ночами безумными, ночами веселыми”, муза пышноволосого аристократа, носившего в себе немецкую кровь, отравленную русскою беспокойною кровью, – муза Блока». «Я много жил Лермонтовым, много в него вглядывался и много прикидывал к своей слабой, но – слава Богу – незавершенной личности его могучую личность. Безраздельный восторг – первая стадия моего отношения к Лермонтову, восторг, далеко еще сейчас не изжитый, как ни бился я вытравить его чисто рассудочным путем [обращением к Тургеневу, затем – к Пушкину. – А.З.]».

Герой лирики Щеголева – наследник образа, подаренного «вечно двадцатишестилетним поэтом» русской литературе и «отравившего» ее вплоть до Блока. В стихотворении «Опыт» поэт определил собственные слова-концепты: *одиночество, безвыходность, эмиграция, родина, прозябанье, любовь, рус-*

ский. Действительно, где бы ни был герой Щеголева, *одиночество* на первом месте из окружающих его бед. Это видно уже в первых «рубежных» стихах:

Радость... —
Я к ней непричастен.
Солнце... —
Я с ним не знаком.
Что для меня ваше счастье?
Что для меня ваш закон?

(«Стансы»)

Эволюция лирического сознания Щеголева протекала стремительно; в течение нескольких месяцев он переживает метаморфозу от новоявленного харбинского Печорина к иронизирующему над своим юношеским максимализмом мужчине:

Память видит зеленый альбом...
В нем когда-то, как яркий новатор,
Расчеркнулся я словом «любовь», —
Запятая, тире, — «скучновато»!

(«Память видит...»)

Наиболее комфортно герой Щеголева ощущает себя наедине с самим собой и своим внутренним миром:

Вечер. Горизонт совсем стушеван.
Печь, диван, присутствие кота.
Ручкой тонкою и камышовой
Я пишу на длинных лоскутах.

<...>

Музыка несется ниоткуда
В форточку и в уши — напролом.
Обожаю внешние причуды
И, в особенности, за столом.

Звуки музыки воспринимаются этим героем в сложном синтезе физических и эмоциональных ощущений — они холодят, ослепляют, пугают:

И какие созвучия! Чем обогреешь
Их полет? Прикасаясь к ушам, холодят они
До мурашек, до дрожи. И тянет скорее
В освещенную комнату. Там благодатнее.
(«От самого страшного»)

Перманентное состояние лирического «я» — «самое страшное, черствое», «бессонная тоска», вступающая в диссонанс с обычным человеческим уютом:

Чувствую, что с каждым часом чванней
Становлюсь, заверченный в тиски
Горестного самобичеванья
И тоски.

(«Диссонанс»)

Однако *тоска* Щеголева — совсем иного свойства, чем *тоска* того же Ачаира, которому было что вспомнить: «шумливые годы, / звенящее время, / поющую юность — / не пьяненький

джаз» («В фруктовой лавчонке», 1938)¹. Тоска Ачаира (и многих других харбинцев старшего поколения) питается болью об *утраченной* Родине, об *утраченной* юности. У Щеголева же, который был на 14 лет моложе Ачаира и, соответственно, принадлежал ко второму поколению харбинских поэтов, это ощущение пронизывает его *настоящее*:

Всё обиходно. Косые
Спят на обоях лучи...
Разве лишь слово «Россия»
Мне необычно звучит.

(«Стансы»)

Что противопоставить одиночеству, тоске, диссонансу? Творчество. Оно воспринимается в императивном ключе (суровое слово долг):

...Пусть клонит в сон – не надо спать!
Будь человеком твердым, будь поэтом.
Не холода, а теплоты, не сна,
А бодрствования...

(«Живая муза»)

Правда, сам процесс сочинительства запечатлен в образах, сопутствующих недугу и его преодолению: «содрогаешься часто, на рифмы кладешь пароксизмы...» («Опыт»). Но, когда вокруг царствуют «дисгармония, кризис – газетный, словес-

ный...» («Поровну»), необходимость писать становится реальным спасением, действенной антитезой эмигрантскому прозябанию: «Я себе говорю: / Мы сумеем еще побороться... / А пока / стану сетовать, / Стихослагать!» («Устаю ненавидеть...»).

Констатируя дисгармоничность русской лирики, Щеголев не может вырваться из антиномий собственного поэтического сознания. Он этого и не скрывает: «я – *русский, и мне соблазнительны надрывы...*»¹. Многие стихотворения Щеголева построены на антитезе. В «Опыте» это противопоставленность сентенций «*ты – захудалый и странный чужак-эмигрант*» и «*ты – сильный гордый русский*», в «Поровну» – оптимистические утверждения, что «*На десяток плохих есть десяток хороших, / На десяток больных – десять кровь с молоком...*», а в стихотворении «Два поезда» «*проклятый уходящий поезд*» противоположен «*милому приходящему*» и т.д. Точно так же противоречив и многолик сам герой щеголевской лирики: он то «*чудак и уродец*», то «*богатырь, то калека, то филантроп, то Марат*» («Стансы»), то *Вий*, то *Демон*, то *карлик*.

Основной формой воплощения такой противоречивой природы становятся демонические и дьяволоподобные персонажи, способные создавать довольно прозрачное аллюзивное пространство в сознании читающих. Одна из причин дьявольской одержимости – ум героя, этот «*морщинистый карлик ехидный*»:

Мой ангел! Я страшно умен
Умом чудака и уродца.

¹ Рубеж. 1937. № 25. Об этом: Забияко А.А. Тропа судьбы Алексея Ачаира. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2005. 274 с.

¹ Щеголев Н. Мысли по поводу Лермонтова. Указ. изд. С. 5.

<...>

Виски набухали от дум,
Мне чудился звон панихидный.
И – вправду – скончался мой ум,
Морицинистый карлик ехидный.
Он трясся, пощады моля,
Топорщился злобно, упорно,
Но тяжко прижала земля,
Прикрыла пробившимся дерном.
(«Обновление»; курсив мой. – А.З.)

Мифогенной основой щеголевского пандемониума¹ становится внутренняя природа героя:

*Это выглядит мрачней могилы,
Это гибнет человек живьем...
Но какая дьявольская сила
В нынешнем отчаяньи моем!*
(«Всем мои стихи доступны... Всем ли?..»;
курсив мой. – А.З.)

Устаю ненавидеть.
Тихо хожу по проспектам.
«Некто в сером» меня
в чьи-то тяжкие веки влюбил.
Устаю говорить.
Пресловутый и призрачный «некто» –

*Надо мной и во мне,
И рога наподобие вил.*
(«Устаю ненавидеть»; курсив мой. – А.З.)

Помимо *«Некто в сером»*, пробравшегося в лирику Щеголева при помощи Л. Андреева, inferнальную сущность его лирического субъекта сопровождает гоголевский Вий:

Угроза новой затяжной любви...
Ах, не попасть бы из огня да в полымя.
Борюсь с собой, держу глаза, как Вий,
Прикрытыми ресницами тяжелыми.
(«Заговор»)

Вий, как известно, обладает способностями, превышающими «обычные» способности рядовой демонической братии. Он видит и знает не замечаемое другими. Именно поэтому в знаменитой «миргородской» повести призывают Вия демоны, не справляющиеся с Хомой Брутом. Вий воплощает сокровенное знание, а в мифологии многих народов обладание этими надчеловеческими способностями неотделимо и от волхования, и от поэтического экстаза, и от вдохновения. Другое дело, что если в знаменитой повести Гоголя Вий требует: «Подымите мне веки!», то у Щеголева «виеподобный» герой, напротив, уже старается не смотреть на окружающий мир, предпочитая *«держат глаза / прикрытыми ресницами тяжелыми»*. Ведь «поднять веки» значит подвергнуться очередному «припадку вдохновения». «Вочеловечить» этого полудемона может только порыв вдохновения:

¹ Пандемониум – собрание бесов, демонов.

Одно ужасное усилие,
Взлет тяжко падающих век,
И – вздох, и вырастают крылья,
И вырастает человек.

Щеголев был поэтом-книгочеем, поэтом-умником. Он начал с Лермонтова, затем обратился к А. Белому. До самого конца жизни ему был близок А. Блок – об этом свидетельствуют найденные остатки архива, где блоковские сборники перепечатаны на пишущей машинке. Новаторская техника, основные ритмические «составляющие» стиха аттестуют Щеголева как поэта, слишком «взыскующего» к форме. Благодаря им лирические откровения Щеголева выделяются особой энергетикой ритма, оригинальной словесной рокировкой¹.

В предисловии к сборнику «Семеро»² Ачаир точно определил поэтических кумиров Щеголева: «Андрей Белый, Цветаева, Маяковский, Пастернак, формалисты – любимые поэты у Щеголева <...>»³. Формалистские ориентации Щеголева заслужат довольно однозначные оценки в редких воспоминаниях чуроевцев: «Подчеркнуто четко, с прекрасной дикцией читал свои *холодноватые* стихи Николай Щеголев», – напишет Михаил Волин⁴. Владимир Слободчиков не единожды отметит «вычур-

ность» и «манерность» стихотворений Щеголева: «Щеголев слишком увлекался авангардистскими изысками – *гонялся за рифмами*, которые порою сводили его стихи на нет»¹. Все эти более поздние суждения можно было бы отписать по ведомству поэтической конкуренции, однако в них была существенная доля истины.

Музыкальные и звукословесные интенции Щеголева наверняка были связаны с его профессиональной музыкальной подготовкой. Алексей Ачаир, характеризуя близкого ему в этом смысле поэта, писал: «Ему – пианисту, пожалуй, – Стравинский ближе Шопена, Прокофьев – роднее Бетховена. Музыка сфер – не его стихия, напевность – не его жанр»². Обнажившиеся в подобных сравнениях ценностные оппозиции метафорически обозначают знание Щеголевым, наряду с музыкальными, художественных ориентиров Серебряного века (*музыка сфер, напевность*) и его близость к поэтике русского авангарда. В этой же статье были весьма тонко подмечены и особенности мировидения юного друга Ачаира: «В старой, быть может, провинциальной библиотеке, где на полках лежат труды философов и древних мастеров, мы видим Щеголева чутко прислушивающимся к голосам прошлого. Он сам сказал бы: *вслушивающимся*. От этого вслушивания, от полноты восприятия Щеголев впадает иногда в отчаянье, его распирает; он вместить не в силах уже своих впечатлений. Но впереди

¹ Подробно об этом: Забияко А.А. «Монпарнасские» интонации лирики Н. Щеголева // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. 3 / Амурский гос. ун-т. Благовещенск: АмГУ, 2002. С. 512–519.

² Семеро. Указ. изд. С. 5–10.

³ Там же.

⁴ Волин М. Гибель «Молодой Чураевки»: Воспоминания / Публ. Э. Штейна // Новый журнал. 1997. № 209. С. 216–240.

¹ Слободчиков В. О судьбе изгнанников печальной... Харбин. Шанхай. С. 145; Слободчиков В.А. Интервью А.А. Забияко. 22.10.2003. Москва // Личный архив А.А. Забияко.

² Ачаир А. Предисловие к сборнику «Семеро» // Семеро. Указ. изд. С. 8–9.

него, через несколько лет, другой Щеголев выявит в стройном сочетании *неопантеизм с налетом урбанизма, влияния формализма и – “математики Черни”*. Не только любовь к природе, но жадность к жизни, к ее творческому биению с насмешкой по адресу шантрапы, покушающейся в бессилии покончить с собой, в городах или в тайге – безразлично. Жизнь так многообразна. Было бы желанье и умение жить. В этом – Щеголев [курсив мой. – А.З.]»¹. Как видно, в своем дружеском эссе Ачаир подметил у младшего товарища любовь к философии, искусству, музыкальность, впечатлительность и – жизнелюбие. Немного позднее, в 1937 году, Ачаир напишет стихотворение «Форма», где, обращаясь, скорее всего, именно к своему бывшему питомцу – «взыскующему поэту», будет сетовать на то, что тот стал уж слишком увлекаться «метрономом», создавая свои «графленые записки»². На роль «взыскующего» с самого начала своего творчества с полным правом мог претендовать именно Николай Щеголев:

Стихи читаю вслух и про себя,
Ритм создаю холодный, острый, бритвенный,
И рифмы обличительно скрипят...
Я – как монах, настроенный молитвенно.
(«Заговор»)

Игровое начало распространяется на сам принцип порождения поэтического языка Щеголева. Освобождаясь от

стихии «чистого лиризма», поэт в первую очередь иронически переосмысляет лексические клише и «высокие» фразеологизмы традиционной образности, например: «угроза болезни», «затяжная болезнь» – *угроза новой затяжной любви*, «припадок злости» – *но в припадке жесточайшем долга*, «свобода личности» – *свободе личности назло*, «копить злобу» – *накаплиешь безвыходность* и т. д. Привнесение новых смысловых оттенков, остраниющих образ, достигается часто путем контаминации разговорных клише и выражений с переносными значениями на основе омонимии: *«получая гроши, получая презренье подчас»*, либо путем умножения однородных членов предложения, создающего эффект иронической градации: *«на земле, где сльвешь чудачком захудалым и странным...»*, *«эмигрантом до мозга костей, с головы и до ног»*, *«думаю бессвязно и беспланно о душе»*, *«долетает из дальнего сада мелодия. / Вероятно, продукт математики Черни, / Виртуозности Листа, Сальери агония...»* и т. д. Как видно, формалистская ориентированность поэта была предопределена особенностями его языкового мышления – склонностью к каламбурам, остроумной рокировке образами на уровне внутренней формы слов.

Особого внимания заслуживают опыты Щеголева в области рифмы. Помимо множества вариаций разнообразных способов рифмовки, употребления неточных рифм и их деграмматизации, излюбленным приемом Щеголева становится *паронимическая* рифма, особенно представляющая его «лица необщее выражение»: *марксизма – пароксизмы*, *одинок – до ног*, *хлопотно – хлоп о дно*, *ехидою – панихидою*, *с ленью я – перечисление*, *собачками – запачканный*, *погоню – агония*, *нечаянно – отчаянье*, *любви – Вий*, *Мармеладов – Ленинграда*,

¹ Там же.

² Об этом: Забияко А.А. Николай Щеголев: харбинский поэт-одиночка // Новый журнал. 2009. № 256. С. 310–324.

полями – тяжёлыми и т. д. В результате такой рифмической организации, «сталкивающей» столь далекие стилистически и понятийно слова, рождается ярко выраженный каламбурный эффект. Автор активно обращается к аллитерации, особенно на шипящие: «И **ч**ерен я, как **туч** теку**ч**ая гряд**а**», «**Шуш**укаются, **рыш**ут надо мной, **шуш**укаются, **рыш**ут, **ухищ**ряются» и т. д.

Но на уровне поэтических деклараций более современны и актуальны для него были не футуристы и даже не мэтры Серебряного века, а Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов. Щеголев демонстративно подчеркивал свою зависимость от классической традиции, впитанную с детства: «До боли, до смертной тоски / Мне призраки эти близки. . .» («Достоевский»). Знаковые фигуры XIX в. русской литературы становятся «живыми» спутниками, с которыми он себя сравнивает: «Словно Гоголь я – в турецкой феске, / Остролиц и холоден, как лед. . .» («Ночью»); «Ведь это, пропив вицмундир, / Весь мир низвергает, весь мир / Всё тот же, его, Мармеладов / (Мне кажется, я с ним знаком). . .» («Достоевский»).

Зачастую взаимоотношения с огромным корпусом русской литературы приобретают характер интертекстуальной полемики, одним из приемов которой становится цитирование, переходящее в композиционный принцип:

Я пуст, как эта даль
За дымкой паутины,
И черен я, как туч
Текучая гряда;
<...>

Зачем я – человек?
Души моей извивы
Пронизаны навек
Суровым словом: долг.
(«Жажда свободы»)

Реминисценции из Пушкина и Блока создают особое семантическое пространство. Стихотворение Пушкина «Редет облаков летучая гряда. . .» напоено умиротворенными воспоминаниями о восходе над «мирною страной, где всё для сердца мило. . .», о юной возлюбленной. Блоковские строки («И все души моей излучины / Пронзило терпкое вино. . .») предлагают еще один рецепт бегства от действительности – «туда», на «дальний берег» опьяненного сознания. Но – ни то ни другое не востребовано героем Щеголева: ведь это всего лишь «избитые мотивы», подстерегающие, «как придорожный волк», то есть таящие опасность – умиротворения, повторения, иллюзии возвращения в прошлое. Поэт фактически обвиняет «прежних поэтов» в том, что

. . .посмели они истаскать
Всё дотла, и всё выпить до краю,
И беспечно мотать до меня
То, что нынче во мне закипает,
Улыбаясь, дразня и маня.
(«Ровно в восемь»)

Щеголев жаждет новых тем, ему хочется найти иную, «живую музу с узкими глазами» [курсив мой. – А.З.], которая

смогла бы изменить жизнь настолько, чтобы было «не только умирать, / Но даже, даже вспоминать об этом / Грешно...»¹.
В этом – спасение:

И странными становятся тогда,
И слышными как будто издавека
Мучительные вдохновенья Блока,
Несущие свой яд через года.
(«Живая муза»)

Но и в этом *остранении* от своих ближайших предшественников можно увидеть один из способов модернистского жизнестроения – олитературирования своего быта и своих переживаний. Явным образом этот процесс запечатлен в любовной лирике.

Мы не знаем ничего о сердечных увлечениях Щеголева эмигрантской поры – времени наиболее терпких ощущений и ярких впечатлений мужчины до сорока. Всё, что есть в нашем распоряжении, – это *лирический сюжет* жизни его «alter ago». В нем раскрываются самые разные стороны щеголевского восприятия возлюбленной (или возлюбленных?):

Ты помогала мне в успехе
На утомительной земле,

¹ Об этом подробнее: Забияко А.А. «Муза с узкими глазами» и русское «самотерзанье» (проблема этнокультурной самоидентификации эмигранта в харбинской литературе) // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 7: Мост через Амур. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2005. С. 298–313.

Ты создала мои доспехи,
Ты сделала меня смелей,

Неуязвимей и злорадней...
*И всё, что мне тобой дано,
Я взял, но твой покой украден,
Я не люблю тебя давно.*

(«Ты помогала мне в успехе...»;
курсив мой. – А.З.)

Иногда герой Щеголева пытается найти спасение в любви, надеется, что лирическая героиня («мой ангел») способна побороть его дьявольскую природу:

Люби меня всей чистотой,
Которой я стыжусь,
Люби меня любовью той,
Которой я боюсь.

<...>

*Я новым ликом обернусь,
И, став самим собой,
Свободно солнцу улыбнусь,
Что встанет надо мной.*

(«Люби меня всей чистотой...»;
курсив мой. – А.З.)

Он любит принимать разные облики, например – истинного змея-искусителя, обуреваемого темными страстями и преступными желаниями. Не смущаясь, такой герой признается:

«недаром / Тяжелый мой жаден взгляд», в нем – «жестокий желтый огонь». В отношении юной героини он испытывает «страшное чувство», затевает «темное дело». Даже жесты его – эротизированные и одновременно отвратительные – создают тероморфные аллюзии на чудовищ:

*...Прерывисто, злобно дыша,
Над нею в танце
Ползучем склоняюсь я:
– Моя, моя, несмотря ни на что, – моя!
(«На балу»; курсив мой. – А.З.)*

С годами сквозь густую мглу демонических страстей всё чаще проступает лицо неуверенного в себе, «ветрового», «порывистого» мальчишки. В таких стихах нет места ритмической виртуозности, лирическим героем владеет непосредственное чувство, о котором говорится просто и откровенно (например, «Кошка»). Поэтому не сами по себе «формальные» признаки, а прорывающаяся сквозь них пронзительность интонаций делает лирику «ветрового, недоверчивого»¹ Щеголева причастной к настоящей поэзии. Умение с первой фразы захватить читателя, погрузить его в мир собственных переживаний и заставить принять их за свои дается далеко не каждому поэту.

Лирическое творчество Щеголева становится наглядной художественной реализацией той поэтической категории, которую вывел Ю. Н. Тынянов в связи с лирикой А. Блока, назвав

ее «лирический герой»¹. На протяжении всего творчества Щеголева до последних стихотворений этот герой биографически неотделим от самого автора. Мы можем проследивать поступательное развитие этого авторского «двойника» – от юношеской поры, «когда мы любили и нежность в любви прозревали», до разочарованной старости, где он уже «постаревший, угрюмый, / Тих, сутул, как сова». Этому герою, с полнотой вобравшему лермонтовский душевный надлом, присуще и блоковское стремление к «вочеловечению».

Неудивительно, что такой сложный и многогранный «вслушивающийся» поэт вместе с Николаем Петерцем становится во главе «чураевского переворота». Чураевские события 1932 г. Ю.В. Крузенштерн-Петерц представляет как настоящую «революцию», борьбу двух поколений поэтов. Идеологом прогрессивного литературного движения в этом контексте выступает Петерц: «Между тем в Харбине, уже занятом японцами, находившемся в преддверии японо-фашистского террора, Чураевка развивала серьезную работу. *Работе этой не помешал, а наоборот, способствовал устроенный группой молодежи переворот.* Во главе этой группы стояли Николай Петерц и Николай Щеголев, считавшие, что для роста поэтов недостаточно одних открытых вечеров с аплодисментами дружественно настроенной публики, и что *необходимы серьезные студийные занятия.* Было много споров и относительно направления. Почему именно – Чураевка? Сибиряками молодые поэты себя совсем не чувствовали, имя Гребенщикова их вовсе не влекло. Но за кем же идти? За футуристами? За

¹ Так охарактеризовал поэта Георгий Гранин в лирическом эссе «Она» (Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 30–45).

¹ Тынянов Ю.Н. Блок // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 118–123.

символистами? За акмеистами? Во всем этом заплеталось слишком многое – Маяковский с его большевизмом, Блок с его вопросами, никогда не разрешенными, либо задушенными смертью, – выбор языка – у кого учиться – у “московской просвири” или у “блистательного Санкт-Петербурга”? В конце концов, остановились на Петербурге и на акмеистах – поэзия для поэзии, строгая школа, мужественное стремление к “акмэ”, пусть недостижимому, – всё равно, чем труднее, тем лучше. Так в Чураевке создавалась литературная студия “*Цех поэтов*”, с Гумилевым – духовным вождем и императором, управлявшим, из-за гроба, крошечной монархией внутри либеральной республики [курсив мой. – А.З.]»¹.

Этим воспоминаниям вторит В. Перелешин: «Большой переполох вызвало создание Петерцем параллельной “Чураевке” организации – Круга поэтов, которая собиралась там в те же часы, что и “Чураевка”, но имела другое руководство. В этот момент “Чураевка” окончательно вырвалась из-под благосклонной опеки Ачаира, фактического основателя, устроившего для нее приют в помещении ХСМЛ и всячески ей помогавшего»².

Крузенштерн-Петерек реконструирует события: «в начале марта 1933-го А. Ачаир, прочитав доклад “Опыт Чураевки”, заявил о том, что он слагает с себя обязанности руководителя, после чего *Н. Щеголев и Г. Гранин вышли из состава руководства*»³. Но почему и сподвижники Петереца вдруг

вышли из состава руководства? Этот факт мемуаристка никак не комментирует, зато нам он может многое объяснить в ее дальнейшем неприязненном отношении к Щеголеву и в отношении Петереца к Гранину.

По словам В. Слободчикова, Щеголев очень быстро понимает, что Петерек ввел его в заблуждение, что новообразованный «Круг поэтов» – это удар по Ачаиру, с которым у него были дружеские отношения, и объявляет о выходе из «Круга»¹. На том заседании Ачаир подробно проанализировал деятельность кружка за прошедшие восемь лет и подчеркнул, что свою задачу – подготовить собственных лидеров из кружка молодежи – «Чураевка» выполнила. Возможно, именно в то время произносил он слова, позднее оплотнившиеся на бумаге: «я считаю, что всякая попытка найти общий язык и начало дороги к Истине – уже плодотворна. Можно идти рядом, параллельно, или расходясь (не лучше ли сходясь), но – к одной цели»². Любопытна реакция слушавших его отчетный доклад: «На непосвященных эти слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы: “Чураевку” невозможно представить без А. Ачаира»³. Вероятно, именно эта щекотливая ситуация заставила порывистого (подозреваем – совестливого) Щеголева сложить с себя полномочия председателя «Круга поэтов»... Но отношения с самим Ачаиром всё равно дают непоправимую трещину.

¹ Слободчиков В.А. Отзыв на книгу А.А. Забияко «Тропа судьбы Алексея Ачаира» // Берега. 2006. № 4. С. 56–58.

² Ачаир А. К одной цели // Литературный однодневник харбинской группы писателей – динамических реалистов. Харбин, 1941. 21 июля. С. 6.

³ Дiao Шаохуа. Харбинская «Чураевка» // Рубеж. 2003. № 4. С. 219–229.

¹ Крузенштерн-Петерек Ю.В. Чураевский питомник. Указ. изд. С. 63.

² Перелешин В. Два полустанка. Russian poetry and literary life in Harbin and Shanhai, 1930–1950. Amsterdam, 1987. С. ???.

³ Крузенштерн-Петерек Ю.В. Чураевский питомник. Указ. изд.

В 1936 году Щеголев перебирается в Шанхай, примкнув к своему харбинскому приятелю Николаю Петерецу. О шанхайском периоде жизни Щеголева мы узнаем из воспоминаний всё той же Юстины Крузенштерн-Петерец. Поначалу он сближается с «младороссами»¹, редактирует «Литературную страницу» в газете «Новый путь» (о чем есть упоминание и в анкете БРЭМ его отца). И вновь 27-летний Щеголев «взялся за дело, засучив рукава», пишет зазорные критические статьи. Так, в самой первой под хлестким названием «Долой дилетантизм» он высказывается: «У каждого из нас есть чувствование... С чувством пишет всякий гимназист, но это еще не делает его творения искусством»; «Сколько за то время было выпущено гадких в художественном отношении книжонек, претендующих на “нутро”, на верное изображение быта, в которых, однако, искусство и не ночевало», завершая дерзким пассажем: «Гимназисты, достигшие сорокалетнего возраста, не думайте, что вы работаете на пользу русской словесности,

¹ Младороссы – национальный союз Нового поколения. «Были очень популярны в Шанхае, как и везде в российской эмиграции. Вначале выступали резко против СССР, приветствуя создание фашистских партий в эмиграции»; Н. Петерец, активный участник всех мероприятий, писал: «Союз младороссов – это русский фашистский отбор, это авангард победоносного национал-революционного потока, который сметет коммунистическую власть и сметет все преграды, мешающие России стать на свой национальный путь» (Петерец Н. Младоросское становление. Шанхай: Изд-во А.П. Малыш и В.П. Камкина, 1934. 53 с. Цит. по: Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае. Указ. изд. С. 142). Симпатии Щеголева к младороссам были, возможно, отголоском его харбинской деятельности. В заметке Сигмы (В. Перелешина) на стр. 5 есть упоминание о том, что Щеголев сотрудничал с газетой «Наш Путь» (ее литературной страницей, наряду с П. Лапикеном, Вл. Слободчиковым, М. Волиным).

если вы остаетесь дилетантами. Дилетантизм в искусстве – явление преотвратное, и стоит теперь начать с ним борьбу не на жизнь, а на смерть»¹. Приводит мемуаристка и другой пример, когда Щеголеву пришлось объяснять «разделанному под орех» поэту «из есаулов», что стихи, помимо вложенной в них «души», требуют еще и поэтического мастерства. Любопытно при этом характеристики «критика», вообще «легко смущавшегося», красневшего, но готового «с безумством отчаянья», «неумолимо» доказывать свою точку зрения человеку пусть и много старше его, но не сведущему в таинствах, а главное – мастерстве стихотворчества. Крузенштерн-Петерец резюмирует: «Ни один из них не созрел еще тогда до того, чтобы подходить к книге холодно – аналитически, оставляя в стороне те самые “гимназические чувствования”, над которыми они издевались»².

Оставим в стороне фигуру Н. Петереца. Подчеркнем – Щеголев уже в Харбине состоялся как критик со своими оригинальными суждениями и эстетическими ориентирами.

Немудрено, что он же некоторое время возглавлял и «Литературную страницу» шанхайского журнала «Сегодня». Как свидетельствует Ю.В. Крузенштерн-Петерец, журнал появился в 1943 г.: «Помимо стихов, беллетристического материала, статей на философские и политические темы, журнал “Сегодня” уделял много внимания вопросам поэзии. Правильнее было бы сказать, что это было в нем самым главным. Ни в одном дальневосточном журнале не было такого числа статей, по-

¹ Цит. по: Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания // Россияне в Азии. 2000. № 7. С. 138.

² Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания. Указ. изд. С. 140.

священных размерам, ритму, аллитерации, рифме и т.д. Кроме того, там были статьи о поэтах и писателях, сравнительно мало усвоенных дальневосточными читателями, о Сологубе, Маяковском, Джойсе. Характер этих статей был спокойный, внушительный, что было, впрочем, естественно. Авторы этих статей – Петерец и Щеголев – уже перестали быть “молодежью”, буйной, азартной, скандальной. Но в то же время они сумели найти верный тон, и та молодежь, что стремилась писать сама, понимала их. Журнал имел огромный успех»¹. Можно предположить, что многие статьи для «Сегодня» были написаны именно Щеголевым – о Джойсе, Маяковском и Сологубе он стал писать еще в «Чураевке».

Судьба популярного издания была печальна – он был перекуплен предприимчивым компаньоном Петереца, и работа в нем бывших чураевцев прекратилась. Всего под руководством Петереца и Щеголева вышло 15 выпусков, но, как ни печально, в настоящее время журнал является библиографической редкостью, «отечественным библиографам он не известен»². Ю.В. Крузенштерн-Петерец писала о том, что у нее самой «едва собрался его полный комплект»³. К сожалению, и роман Щеголева «Из записок одиночки», опубликованный в «Сегодня», тоже пока не найден исследователями.

¹ Там же. С. 142.

² В необработанном архиве Л. Хаиндровой (ГАРФ) имеются в наличии № 22–36 за 1943 г. и три номера за 1947 г. (№ 91[2], 92[3], 93–94 [4-5]) (Солодка М.Б. Книжные раритеты «китайской» русской эмиграции в частной коллекции Л.Ю. Хаиндровой // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5: Проблемы источниковедения и текстологии. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2012. С. 29–41).

³ Там же.

В 1937 г. Китай вступает в войну с Японией. Бывшие чураевцы, сбежавшие в начале 1930-х гг. из Харбина от японского засилья, вновь попадают в зависимость от японских властей. Единственным местом, где японцы не «хозяйничали открыто, была французская концессия, поднявшая флаг Петэна»¹. Русские беженцы обосновались там.

А в 1941 году началась Великая Отечественная. Хотя и гремела эта война далеко-далеко, через много погранпереходов, большая часть эмигрантов всем сердцем откликнулась на призыв «Вставай, страна огромная!». На далекой, порою неизвестной земле гибли родные, русские люди, и эта невозможность помочь общей беде в сердцах многих эмигрантов вызывала горячее желание вернуться. «По мере того, как разгоралась война, охватившая и западную Европу, и Россию, и наш Тихий океан, определялись и настроения русских шанхайцев. Теперь это уже не было теоретическое деление на пораженцев и оборонцев, теперь это было прямо: с японцами и немцами или с Россией, хотя бы советской. Первое было безопаснее и выгоднее, второе пока что не сулило ничего, кроме страшной возможности попасть в японский застеночек»², – вспоминала настроения тех лет Ю.В. Крузенштерн-Петерец.

1943 год – переломный год самой страшной в истории России и всего мира войны. В это время в зарубежье активизирует свою деятельность «Союз возвращенцев»³. По всей видимо-

¹ Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания... Указ. изд. С. 141.

² Там же.

³ «Союз возвращенцев» (аналог образования, действовавшего во Франции) был создан по инициативе советских дипломатических представительств в Китае с целью контроля, координации и раскола русской эмиграции.

сти, Щеголев искренне сочувствовал идеям возвращенчества. Совместно с Петерцем он составляет сборник просоветских статей «Возращение», вышедший в Шанхае в 1945 году уже после смерти Петерца¹. В «Предисловии» Щеголев характеризовал начальный этап деятельности Союза Возвращенцев, «сразу же отразивший в себе все положительные и отрицательные стороны стихийной эмигрантской тяги домой, ностальгии, жалости о бесплодных годах изгнания». По мысли Щеголева, временный распад Союза Возвращенцев в 1939 году (в связи с отъездом из Шанхая генерального консульства СССР, а также усилением деятельности русских черносотенцев в Шанхае) «оказался началом рождения фактически совершенно новой организации. Фаза, которую мы бы назвали наивно-практической, сменилась фазой идейной». Деятельность, нацеленная теперь на «исполнение обязанностей перед родиной», «направилась на внедрение советских идей через печать, через печатное слово»². В сборник статей «Возвращение» вошли публикации Петерца и Щеголева в просоветских изданиях «Родина», «Новая жизнь»

В Шанхае «Союз возвращенцев» был создан в конце сентября 1937 г., работал в тесном взаимодействии с генеральным консульством СССР. В нем имелся свой клуб со свежими советскими изданиями. Председателем Союза был харбинский друг Щеголева Н. Светлов. Помимо него членами комитета были М.Ф. Фомичев и сам Щеголев. Светлов подозревался в шпионских связях в пользу СССР (Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае: опыт энциклопедии. Указ изд. С. 262). Очевидно, что близки к деятельности Союза были и музыканты джаз-банда О. Лундстрема – не случайно их концерты сопровождали деятельность «Советского клуба» в Шанхае, а их репетиционные апартаменты соседствовали с домом В. Серебрякова.

¹ Петерц Н., Щеголев Н. Возвращение: Цикл статей. Шанхай, 1945.

² Там же. С. 6–7.

и «Сегодня» за 1940–1945 гг. И названия статей («Горький и интеллигенция», «О восприятии сталинской конституции», «Еще раз о советском паспорте» Н. Петерца; «Можно ли служить Родине здесь?», «Макаренковские кадры» Н. Щеголева), и их содержание были весьма далеки от эстетических, а тем более поэтических проблем. Но, как видно, эти помыслы Щеголева были искренни, не случайно спустя много лет насущные вопросы шанхайской поры неотвязно сопровождали его. В письме к Н. Ильиной – автору одиозного в эмиграции романа «Возвращение», вышедшего в СССР,¹ – Щеголев, в частности, напишет: «сразу приступаю к теме, живо интересующей нас обоих, – к книге, заброшенной мной и продолжаемой тобой. Первый вопрос я бы поставил так: может ли заграничного материала, имеющегося в нашем распоряжении, хватить для нужной своевременной книги? Чорт его знает. Пожалуй, нет. Говорю, во всяком случае, за себя. Когда мы нашу книгу задумывали, мы учитывали, что главная сила, по которой надо ударить, – это империализм (японский, британский, американский, французский, германский), рвавший на части Китай. Но я лично пока не вижу в себе силенок для поднятия этой темы, а она, несомненно, центральная»². И в Шанхае, и потом в Свердловске Щеголев постоянно испытывал чувство вины за то, что

¹ Ильина Н.И. Возвращение: Роман. В 2 кн. М.: Советский писатель, 1957; 1966. Рецензия романа очевидцами и участниками описываемых событий была неоднозначной. В эмиграции его восприняли негативно. Например: Крузенштерн-Петерц Ю.В. Открытое письмо Наталии Ильиной, автору романа «Возвращение». Журнал «Знамя», Москва // Русская мысль. 1957, 12 окт.

² Щеголев Н. – Н. Ильиной. 18 июля 1950 // РГАЛИ. Ф. 3147 [Н. Ильина]. Оп. 1. Ед. хр. 154.

жизнь его народа, беды его народа прошли мимо относительно благополучного эмигрантского бытия: «Могу тебе только сказать, что за три года моего пребывания на Родине, сталкиваясь с многообразными советскими людьми – чуткими, умными, работающими – я ни разу не чувствовал с их стороны никакого сколько-нибудь острого интереса к нашим заграничным “переживаниям”, “страданиям”, “проблемам”. Больше того. Я сам не раз чувствовал, что всякая попытка углубить вопрос о наших тамошних муках звучит с моей стороны невыносимой фальшью, точно я в чем-то извиняюсь, в чем-то перед советскими людьми оправдываюсь, точно собираюсь поплакаться им в жилетку. А вот Китаем и китайцами и хищниками, эксплуатировавшими Китай, – этим они живо интересуются»¹.

«Комплекс эмигранта», «чужака захудалого и странного», Щеголев пронесет через всю жизнь. Создается ощущение, что он и родился «иностранцем до мозга костей, с головы и до ног» («Русский художник»).

Как писалось Щеголеву в шанхайские годы? Совсем редкие и неопубликованные до сего дня стихи свидетельствуют о сложных душевных переживаниях, сопровождавших жизнь поэта конца 1930-х – начала 1940-х годов. Особенно явно горечь и неудовлетворенность проступают в отношении к возлюбленной:

Я этого ждал
за подъемом,
за взлетом –
падение...

¹ Там же. Орфография автора сохранена.

Я неразговорчив с тобой
и подчеркнуто сух.
Но – видишь? –
у глаз
западают
глубокие тени –
знак верный,
что ночь я не спал
и что мечется дух.

(«Я этого ждал...»)

Органичные его природе лиризм и гамлетовские раздумья питаются в этот период новыми – социально-политическими и патриотическими импульсами:

В такие дни мне – быть или не быть? –
Вопрос наивный и второстепенный.
В такие дни вопрос моей судьбы
Война решает просто и мгновенно...

(«В такие дни»)

Оттого что и в плену болота,
И в тисках тоски
Родины работы и заботы
Стали мне близки...

(«Родина»)

От индивидуалистического «горестного самобичеванья и тоски» он движется к осознанию себя патриотом, пусть и ни

разу не видевшим свое духовное Отечество. Меняется поэтический словарь Щеголева: «война», «Родина», «Октябрьская», «гул московский», но и – «психика сатрапская»... В стихотворении, пересекающемся своим названием с романом соцреалиста Ф. Гладкова «Города и годы», Щеголев восклицает:

Мне годы даются
гремящие,
сороковые,
кровавый сумбур,
что судьбиной
и опытом стал.

(«Город и годы»)

А далее он напрямую переходит к просоветскому «самочету-исповеди»:

Мне годы даются –
марксизма
и мужества школа,
заочный зачет мой
на гражданство
СССР!..

Пропагандистская нацеленность стихов в ущерб лирическому началу и эвфонии – характерная черта щеголевской лирики тех лет, отразившаяся и в стихотворениях сборника «Остров».

История появления этого уникального в своем роде художественного образования тесно связана с возрождением

«чураевского братства» уже на шанхайской территории в кружке «Пятница». Они собрались в количестве девяти человек: Н. Петерец, Н. Щеголев, В. Перелешин, Л. Андерсен, Л. Хаиндрова, Ю. Крузенштерн-Петерец, М. Коростовец, В. Иевлева, В. Померанцев. Их объединяло общее харбинское прошлое, а за плечами первых пятерых (хотели они это признать или нет) была чураевская школа. «В “Пятнице” велась серьезная литературная работа и учеба; это была именно рабочая студия»¹; все были еще молоды, а от прозаической действительности за стенами кружка «нужно было бежать, чтобы как-то сберечь себя до того дня, когда войны больше не будет, террора не будет, голода и холода тоже не будет»². Поэтому они бежали – на свой «Остров» поэзии³.

Правда, по воспоминаниям Вл. Слободчикова, служившего в то время во французской полиции и отказавшегося работать в кружке, «Пятница» также была задумана «с пропагандистскими целями» В.Н. Роговым, директором шанхайского отделения агентства ТАСС, обещавшим субсидировать объединение, а в дальнейшем и издание альманаха «на некоторых политических условиях – полная лояльность к Советскому Союзу, к социалистическому реализму и др. Проводниками роговской идеи были два верных ему Николая». Другие члены кружка этого не знали; Владимир Александрович согласился не говорить об

¹ Бакич О. Остров среди бушующего моря // Новый журнал. 2005. № 239. С. 174–200.

² Перелешин В. Два полустанка. С. 102–103.

³ Ю.В. Крузенштерн-Петерец пишет о том, что название, сменившее простое «Пятница», скорее всего, было придумано Лариссой Андерсен (Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания. Указ. изд. С. 145–148).

этом В. Перелешину, приехавшему из Пекина и примкнувшему к кружку¹. Ю.В. Крузенштерн-Петерец, в завуалированной форме намекая на эти обстоятельства в своих воспоминаниях, тем не менее, подчеркивает: «*Стихи были самым главным. Для стихов надо было жить, пережить войны. Но, конечно, не для испанских и не для норвежских. Когда говорилось о стихах, то имелись в виду только русские. Но чтобы они жили, должна была выжить Россия. А то, что было около нас, вокруг нас, над головой, под ногами, было временным – обстановкой, а не жизнью. Мы верили в будущее и так жадно глотали это будущее, что не замечали, как сгорали в настоящем*»².

Кем-то из самых отчаянных выдумщиков (Перелешин склоняется к тому, что это либо Ларисса Андерсен, либо Николай Петерец)³ был придуман вид студийной игры: «Будем опускать в этот стакан бумажки, свернутые в трубочку. На каждой будет написана тема. А потом пусть Виталий (Серебряков – кажется, полноправный резидент комнаты, где собиралась Пятница, сам стихов не писавший, но состоявший чем-то вроде “политрука” при той половине членов кружка, которая хотела быть советской) <тянет>. Это и будет тема на неделю. А в следующий раз стихи будут читаться и обсуждаться»⁴. Темы же были такие: Дым, Карусель, Кольцо, Камея, Светильник, Море, Химера, Пустыня, Ангел, Феникс, Сквозь цветное

стекло, Кошка, Достоевский, Россия, Дом, Зеркало, Колокол, Мы плетем кружева, Поэт, Джиоконда – всего двадцать, если судить по оглавлению вышедшего в 1946 г. сборника. В случае с «Островом» литературная игра оказалась необыкновенно продуктивна. Многие стихотворения сборника – даже у самого теоретически-холодного из участников, Николая Петереца – отмечены оригинальностью мысли и одновременно трепетным чувством. Очень много удачных и многосмысленных стихов вышло в то время из-под пера Валерия Перелешина и Лариссы Андерсен.

Само художественное целое сборника – и как отражение литературной деятельности кружка, и как самоценная эстетическая структура – достойно особого разговора¹. Вырвать «островную» лирику Щеголева из этого контекста, с одной стороны, сложно. Однако сошлемся на Перелешина: «Верно, что писание стихов на заданные темы выглядит как-то несерьезно. Однако своими тогдашними стихами я был доволен и включил многие из них в свои позднейшие сборники... Точно так же у других поэтов: стихи “Острова” у многих были крупнейшими удачами. Ведь никто не обязан поминать “тему” буквально: Кольцо символизирует и замкнутость, и безвыходность, и вечность, а Дом – назначение человека здесь на земле, но и в другом мире»².

Если по принципу Перелешина отбирать из этих стихотворений подходящие для сборников Щеголева, то это вызовет серьезные проблемы. Из 20 тем сборника Щеголев откликнулся на 15, где продемонстрировал самые разнообразные

¹ Слободчиков В.А. Письмо О. Бакич. 14 января 2002 // Бакич О.Н. Остров среди бушующего моря. Указ. изд. С. 177.

² Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания // Россияне в Азии. 2000. № 7. С. 144.

³ Остров. Шанхай: Дракон, 1946.

⁴ Перелешин В. Два полустанка. С. 103.

¹ Об этом, например: Бакич О. Остров среди бушующего моря. Указ. изд.

² Перелешин В. Мария Коростовец // Новое русское слово. 1974, 13 янв.

претензии в области версификационного мастерства. Однако самоценными лирическими репликами, безотносительно к художественной корреляции с одноименными высказываниями «островитян», звучат лишь стихотворения «Зеркало», «Камея», «Кошка», «Светильник» и «Достоевский». В этих немногих «островных» удачах Щеголев демонстрирует действительно изысканное разнообразие – например, в творческом освоении ритмического опыта вольных стихов:

Знаю:
в эту ночь
печально,
молча ты
пристально глядишься
в бездну зеркала.
Где твой смех бывалый,
колокольчатый?
Всё-то потускнело,
всё померкло!
(«Зеркало»)

Примечательно – именно у Щеголева в «Зеркале» впервые прозвучала эта пронзительная фраза: «Всё не так, не так, не так, как хочется!», всплывшая много лет спустя в ставшей знаменитой песне Владимира Высоцкого: «Всё не так, ребята!»

Лирическая зарисовка «Кошка» только формально увязана с заданной темой. Она лишена символики и многосмысленности, но оттого не становится менее изящной и трогательной:

Вот мы снова встретились,
Встреча роковая...
В шубе и в берете Вы
Ждете у трамвая.

Спрашиваете новости,
Хвалите погоду,
Оживает снова всё,
Как тогда – в те годы...

«Вещность» портретных характеристик лирической героини придает стихотворению непосредственный и глубоко жизненный смысл. Именно о таких лирических высказываниях, в которых лирическое «я» говорит и о себе, и обо всем человечестве сразу, писал И. Анненский¹.

Несколько по-иному реализован принцип «овеществленности» эмоции в стихотворении «Камея»:

Вот я сию, вцепившись в ручки кресла,
Какие-то заклатья бормочу...
Здесь *женщина* была. Она исчезла.
Нет-нет! Мне эта боль не по плечу.
<...>
Но я ведь вещьность придавать умею
Снам, призракам и капелькам дождя...
И вот стихи – резная вещь, камея –
Дрожат в руке, приятно холодя.

¹ Анненский И. Бальмонт-лирик [1906] // Анненский И. Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 102–103.

Стихи, «резная вещь», с точки зрения универсальной поэтической метафорики – то, что отточено и выверено. С точки зрения акмеистской вещности – это действительно «камея», запечатленный образ в честь возлюбленной. Оттого и холодят они своей «каменной» природой (вспомним названия ключевых акмеистских сборников). А с точки зрения индивидуальной поэтической психологии Щеголева – стихи самоценны своей материальностью, «охлаждающей» пыл любовного чувства, своим «холодным, острым, бритвенным» ритмом.

Остальные 10 стихотворений Щеголева в «Острове» грешат голым экспериментаторством («Феникс», «Сквозь цветное стекло», «Дом») либо построены на поединке техники и риторики в ущерб лиризму. Иногда Щеголев впадает в самоповторение («Ангелы», «Химера»):

Одолеем мы химеры эти,
Страхи и сомненья зачеркнем, –
Взрослые умом, душою дети,
С юностью, с надеждами, с огнем, –
Через всё пройдем, перешагнем!
(«Химера»)

Но хуже всего то, что написано непосредственно в угоду советской идеологии:

Ярмо тяготело. Рабы бунтовали.
Витала над Пушкиным тень Бенкендорфа...
Россия! *Советской* ты стала б едва ли,
Когда б не пробилась – травую из торфа...
(«Россия»)

По-видимому, «вдохновение из стакана» не столь часто улыбалось Щеголеву, как другим «островитянам». В отличие от своих товарищей, он был слишком отягощен путами соцзаказа.

После безвременной смерти Н. Петереца Щеголев фактически остался не только единственным руководителем объединения, но и редактором сборника. Правда, Перелешин пишет о том, что Щеголев «наотрез отказался редактировать “Остров”, требуя, чтобы редактировал его я <...> “игра в поддавки” закончилась тем, что редактировали мы книгу сообща, а в самой книге имя редактора не было обозначено». Но всё же «Предисловие» к «Острову» написано именно Щеголевым. В нем не только ярко проявилось его творческое кредо на тот момент, безусловно, окрашенное просоветскими настроениями, но и находит подтверждение его талант литературного эссеиста. Как название «Остров», по щеголевскому утверждению, «множится смыслами» для участников сборника, так множится смыслами каждый новый тезис автора Предисловия. И вот еще на что непременно хотелось бы обратить внимание: и в «Предисловии» к «Острову», и в «Предисловии» к сборнику статей «Возвращение» Щеголев предельно щепетилен по отношению к имени и памяти Николая Петереца. Он постоянно подчеркивает его роль и в поэтической, и в редакторской работе «Пятницы», и его значение для дела возвращенчества. «Удивительную скромность» Щеголева не случайно вспоминает Валерий Перелешин¹. Неизвестно, какие причины подвигли впоследствии Ю.В. Крузенштерн-Петерек к столь едким репли-

¹ Перелешин В. Поэт Николай Щеголев. Указ. изд.

кам по отношению к другу ее умершего во цвете лет супруга, однако, судя по печатным «жестам», Щеголев этого вряд ли заслуживал...

В 1947 году Щеголев по собственному желанию «возвратился» в Советский Союз. На самом же деле свою Родину уроженец Маньчжурии увидел впервые. Щеголеву было только 37 лет. Как многие добровольные репатрианты, он и его жена оказались в Свердловске. Очевидно, благодаря активной работе на ниве «возвращенчества» он не попал в лагерь. Более того – построил неплохую карьеру.

Вначале Щеголев устроился учителем английского языка и несколько лет проработал в одной из средних школ Уралмаша, одновременно учась на филологическом отделении Свердловского государственного университета¹. А с 1955 года четырнадцать лет подряд он трудился «лектором-литературоведом» при Свердловской филармонии. В те времена это была настоящая синекюра для простых преподавателей: поездки по городкам и поселкам, везде – гарантированный прием, почет и уважение со стороны стремящейся к культуре публики. Как писалось в характеристике для поступления в аспирантуру, Щеголев прочел более 50 лекций разного содержания, среди которых особенно выделялись лекции о Маяковском, Достоевском, Блоке. Не обошлось, конечно, и без «образа В.И. Ленина в литературе»². Культурный миф о Ленине в те годы стал своего рода апокрифом коммунистической религиозности. Романтизированная и одновременно житийная фигура Ильича долгое время пленяла

умы не только писателей, но и драматургов, литературоведов. Потому упрекать Щеголева в ленинниане не имеет смысла. Он встраивался в эту новую жизнь со всеми ее идеологемами.

По мнению многих, «в конечном итоге, его судьбу можно назвать даже благополучной. Особенно на фоне некоторых других литераторов, добровольно вернувшихся на родину, скажем, Марины Цветаевой или князя Святополка-Мирского», – пишет В. Синкевич¹. Отчасти это так. Но – за всё это советское благополучие приходилось как-то платить. Чем платил поэт? Всё теми же одиночеством, тоской, неудовлетворенностью, – и это несмотря на то, что был женат, рядом с ним жили мать, сестра и брат. Впрочем, неудивительно: кому тогда был нужен литературный дар, острый критический ум, блестящая образованность *бывшего эмигранта*? Тем более не стоит говорить о редкой способности Щеголева к интуитивному уловлению новых явлений – в области критики, литературоведения, лингвистики, стихосложения... Так, он очень хотел поступить в Литинститут, о чем свидетельствуют строки из письма Н. Ильиной: «В заключение – просьба. Я учусь в Государственном Университете имени Горького (филологическое отделение). Меня интересует – пока совершенно теоретически – вопрос, можно ли через год, два, или уже по окончании Университета ускоренно закончить Лит. Институт, в котором ты учишься. Иными словами, зачтут ли там мне, сданные мною в Гос. Университете предметы? Общих предметов, мне кажется, довольно много, – около 90%. Узнай, пожалуйста, если можешь»². Но

¹ Синкевич В. «Остров» и его редактор // Новый журнал. 2009. №. 256. С. 333–335.

² Н. Щеголев – Н. Ильиной. 18.07.1950. Указ. ист.

¹ Об этом: Н. Щеголев – Н. Ильиной. 18.07.1950. Указ. ист.

² Собрание З. и М. Пуляевских.

попытка, очевидно, не увенчалась успехом: в архиве Литинститута сведений о Щеголеве не обнаружено. Потом он попытался поступить в аспирантуру, о чем свидетельствует приведенная выше характеристика из филармонии с положительными отзывами, однако и о фактическом поступлении Щеголева в аспирантуру информации не имеется. А он мог стать литературоведом высокой квалификации...

Судя по всему, и семейная жизнь не стала для него ни тихой гаванью, ни отдушиной. Еще в 1934 году Щеголев напишет в стихотворении «Твердость»: «Нет, не надо покорной жены, / Тишины и богатства не надо!» В. Перелешин вспоминал о шанхайском периоде общения с четой Щеголевых: «Познакомил Щеголев меня и со своей женой – милой, кроткой, обаятельной Галей¹, которая его просто обожала. Когда статья ему не давалась и он нервничал, Галя уходила “гулять” по улицам Французской концессии – в любую погоду. “Прогулки” иной раз тянулись по несколько часов»². Позднее, в письме Н. Ильиной Щеголев проговаривается: «Домашние условия не благоприятствовали написанию большого продуманного письма. Пришел к Виталию и пишу у него. Время ограничено, – поэтому сразу приступаю к теме, живо интересующей нас обоих...»³ (поясним, что жили Щеголевы вдвоем, были бездетны).

А ведь в юности поэт был влюбчив и переменчив (помните – «характер страстный, павианий»?). В его стихах много имен:

¹ Щеголева Галина Ивановна (1913–2005).

² Перелешин В. Поэт Николай Щеголев. Указ. изд.

³ Н.А. Щеголев – Н. Ильиной. 18.07.1950. Указ. ист.

...А я всё тоскую о *Наде*
любимой,
о ней,
что тоже любила,
но после...
ушла к итальянцу
за лиры,
что были
влиятельней
лиры моей...

(«Город и годы»)

Память стареющего поэта была щедра на образы возлюбленных юности:

...Первая любовь моя *Муся*
Видится, – серьезна, светла...
Помнится, за что ни возьмусь я,
Вкладываю душу дотла...

Вдруг из давней давности вести
Старенький сулит мне блокнот:
Память о погибшей невесте
В буквах полустертых встает, –

Ира. Умерла от угара...
Вспомнили блокнота листки
Глаз ее зеленые чары,
Золота волос завитки...

(«У своего же огня»)

И – ни слова о жене Галине ни в лирике эмигрантской поры, ни в поздних стихах. Даже строки последних стихотворений посвящены не той, с кем были пережиты самые тяжелые времена, с кем встретил старость:

Как тебя я увидел во сне
На мгновенье живую, былую,
Затеplилось сердце во мне
И казалось: тебя я целую.
(«Как тебя я увидел во сне...»)

Находясь в первый раз на лечении в санатории, в чем действительно нуждался (болела нога, началась хромота), он мучился не от разлуки с супругой: «здорово тянет домой. *Я отвык уже так долго бездельничать*»¹. Письмо к жене в ответ на ее тревожную телеграмму написано сдержанно и отстраненно, начиная с обращения: «Здорово, Галя!» и заканчивая дежурной фразой: «Ну, до скорой встречи!» Щеголеву в ту пору всего 49.

Единственной страстью Щеголева последних лет становится «запойный» труд. Слово убегая от самого себя, он пытается найти забвение в новой работе: «Много ездил, устал, а буквально в Новый год пришлось делать новую лекцию, так что в новогоднюю ночь поднял с женой рюмку коньяку и буквально через десять минут сел за пишущую машинку – настолько работа была срочная...»²

¹ Н. Щеголев – Г. Щеголевой. 3.09.1959 // Архив А.А. Забияко.

² Н.А. Щеголев – А.В. Ревоненко. 07.01.1969 // «Будто нет расстоянья и времени нет...» Из писем поэтов, бывших эмигрантов, к А.В. Ревоненко. Хабаровск, 2006. С. 68.

Писал ли Щеголев в СССР стихи, да и писал ли что-то вообще, долгое время оставалось загадкой. Реальность была такова, что после репатриации стихи как-то не писались. После девяти лет заключения М. Шмейссер признавался: «Видимо, лагерь был для меня слишком сильной психической травмой, от которой трудно было войти в состояние прежнего творческого настроения. Да к тому же и годы ушли, как-то вся литературная работа отошла в прошлое»¹. Алексей Ачаир высказался более лаконично: «В той звериной жизни было не до стихов»².

О советском периоде жизни Щеголева Ю.В. Крузенштерн-Петерц писала довольно нелицеприятно: «Так же как с музыкой, с верой, со многим, что ему было дорого, Щеголев расстался потом и с поэзией, когда уезжал в СССР. Свое призвание он обрел было в марксистской публицистике. Но эпитафию себе он написал много раньше, – этой эпитафией был его, появившийся в 1943 году в шанхайском журнале “Сегодня”, роман “Из записок одиночки”. Публицистом в СССР Щеголев не стал. Оттуда писали, что он взялся за преподавание английского языка, а тогда – кто бы мог об этом подумать!»³

Сам же Щеголев признавался: «начиная с 1937 года я стал постепенно видеть себя скорее журналистом-публицистом, нежели поэтом, и поэтому стал всё меньше уделять внимания стихам. По этой же причине я не собирал ранее опублико-

¹ М.П. Шмейссер – А.В. Ревоненко // Указ. изд. С. 78–79.

² Андерсен Л. Самовар на Садовой // Андерсен Л. Одна на мосту. Стихотворения. Воспоминания. Письма / Сост., вступ. ст. и примеч. Т.Н. Калиберовой; предисл. Н.М. Крук; послесл. А.А. Хисамудинова. М.: Русский путь; Библиотека-фонд «Русское зарубежье», 2006. С. 256.

³ Крузенштерн-Петерц Ю.В. Воспоминания. Указ. изд. С. 68.

Николай Щеголев ушел из жизни 15 марта 1975 года: умер от инфаркта². Кончина скромного свердловского преподавателя осталась событием семейного масштаба да грустью редких друзей³. И только в нью-йоркском издании появился пронзительный некролог Валерия Перелешина «Поэт Николай Щеголев»: «Больно ранило меня полученное сегодня письмо поэтессы Лидии Хаиндровой от 23 марта – о том, что в ночь на 15-е марта в бывшем Екатеринбурге на руках брата скончался Коля Щеголев – тот Николай Александрович Щеголев, которого я застал в харбинской Чураевке ХСМЛ в 1932 году (когда мне было девятнадцать лет, а ему чуть больше) и с которым я встречался каждую пятницу в Шанхае в годы войны». Но кто в те глухие времена мог соотнести подобные факты? Перелешин с болью писал: «Николай Щеголев, в тридцатых годах всем существом своим откликавшийся на “парижскую ноту”, умевший говорить о главном и чуждаться “красивости”, умер

² Щеголев похоронен на Восточном кладбище г. Екатеринбурга. Вместе с ним похоронена его жена Галина Ивановна, рядом – мать Анна Ивановна, сестра Валентина Александровна (Ким), брат Владимир Александрович.

³ Хаиндрова Л. Письмо А. Ревоненко. 2.04.1975. // «Будто нет расстоянья и времени нет...» С. 41.

И все-таки бывший харбинский поэт-задира Николай Щеголев понемногу продолжал писать – до конца жизни. Случайно найденные фрагменты его архива² свидетельствуют не только о серьезной научно-критической работе (в частности, лекция о Беранже, рецензия на книгу С. Щипачева под названием «Проза поэта»), но и о замыслах романа из харбинской жизни под названием «Перекресток», рукопись которого датирована 1962 г. На листочке, вырванном из школьного блокнота, читаем:

К дальним звездам, в небесную россыпь
Улетают ракеты не раз.
Люди, люди —
 высокие звезды,
Долететь бы мне только до вас...

* * *

Всегда во сне
 нелепо всё и странно —
Приснилась мне сегодня
 смерть моя...

¹ Перелешин В. Поэт Николай Щеголев. Указ. изд.

² Автор статьи выражает глубокую признательность Виктору Потриваеву (Екатеринбург) за внимательное и бережное отношение к найденному архиву Н. Щеголева, выброшенному после смерти Г.И. Щеголевой на улицу.

А рядом – следы работы его версификационного «метронома» (помните упреки Ачаира в стихотворении «Форма?»). Возможно, записав услышанные строки Расула Гамзатова, он тут же уловил переключку со своим поэтическим кумиром: «В полдневный...» (и мы вспоминаем лермонтовский «Сон»). Да, «взыскующий поэт» Щеголев сразу почувствовал эхо мистического стихотворения Лермонтова в гамзатовском отрывке (5-стопный ямб с цезурой на второй стопе)...

Пути истории неисповедимы... Не будь революции, гражданской войны и перерождения тихого провинциального Харбина в белоэмигрантский Харбин – не было бы поэта Николая Щеголева. Вернее, перефразируя Горького, мальчик-то был бы наверняка, а вот поэт – «ветровой, недоверчивый», «самый буйный, самый талантливый из молодой поросли» – вряд ли. И не было бы в русской литературе целого поколения харбинских «взыскующих поэтов» и писателей – Г. Гранина, Н. Петереца, Л. Андерсен, Б. Юльского...

Век двадцатый призвал этих русских ребят, рожденных не в дворянских усадьбах, воспитанных вне литературных салонов, но отчаянно вобравших всё накопленное к тому времени русской культурой и литературой. Вобравших – и сказавших свое, выстраданное и вытомленное.

Этот же век проехал по русским ребятам катком политических интриг, репрессий, тотального предательства, всеобщей подозрительности, этических деформаций. Кто-то сумел сохранить себя, как Валерий Перелешин, Ларисса Андерсен, – и навсегда лишился Родины, утратил возможность быть услышанным при жизни в полный голос. Кому-то, как Николаю Щеголеву, Владимиру Слободчикову, Лидии Хаиндровой,

пришлось намного тяжелее. К тому же Родина отнеслась довольно прохладно к их возвращенным талантам.

Но времена, как известно, не выбирают. Это еще в молодости осознал Щеголев, воскликнув отчаянно: «Мои это годы, моя это боль и судьба!» Собранные по крупницам стихи, эссе, статьи и письма этого «харбинского юнца» свидетельствуют о недюжинном таланте, рожденном и развившемся в особых временных и пространственных координатах, о том самостоятельном творческом пути, который был пройден «взыскующими поэтами» русского дальневосточного зарубежья. И становится ясно, что судьба Николая Щеголева, переплетенная с лирическим сюжетом его поэзии и художественными раздумьями, вызывает сегодня интерес не только в контексте драматических судеб русской послереволюционной истории и литературы.

Анна Забияко

ПРИМЕЧАНИЯ

Большинство известных стихотворений Щеголева относится к 1930–1935 гг., когда поэт жил в Харбине и был одним из самых активных и заметных участников местной литературной жизни. В годы пребывания в Шанхае (1936–1947) наибольшая поэтическая активность Щеголева связана с деятельностью кружка «Пятница» (1943–1944), выпустившего в 1946 г. коллективный сборник «Остров». Наконец, в годы после эмиграции (1947–1975), будучи целиком погружен в преподавательскую деятельность, Щеголев возвращался к поэзии крайне редко.¹ С конца 1980-х стихотворения Щеголева начали появляться в отечественных изданиях, включаются во все представительные антологии поэзии русской эмиграции.

Личный архив Щеголева долгое время считался утраченным², но в 2009 г. в ответ на наш запрос члены общественной ор-

ганизации «Ассоциация “Харбин”» сообщили, что после смерти Г.И. Щеголевой найденные у нее бумаги Щеголева были переданы ее младшей знакомой по эмиграции Зинаиде Алексеевне Пуляевской, в чьем собрании хранятся по сей день. Эту часть архива составляют машинописный свод стихотворений Щеголева (далее – Сборник), подготовленный, судя по его погрешностям, уже после смерти автора; автографы и машинописи стихотворений, известных по публикациям (иногда со значительными разночтениями)¹ и до сего дня неопубликованных; рукопись романа (работа не завершена); материалы к биографии.

В настоящем издании представлены все известные на сегодняшний день стихотворения Николая Щеголева. В соответствии со Сборником принято деление стихотворений на три хронологических раздела: Харбин, Шанхай, Свердловск. Внутри разделов стихотворения даются в приблизительно устанавливаемом хронологическом порядке. Датировки Сборника принимаются в тех случаях, когда они не опровергаются другими источниками; датировки, скорректированные составителями (в основном по датам первых публикаций), заключены в угловые скобки. Стихотворения, опубликованные при жизни автора, печатаются по тексту позднейшей прижизненной публикации; в примечаниях приводятся варианты текстов по другим источникам. Указание на публикацию, с которой не удалось ознакомиться *de visu*, сопровождается звездочкой. Неопубликованные при жизни автора стихотворения, включенные в Сборник, печатаются по его тексту (кроме стихотворения «Журналист»).

вернувшихся и не вернувшихся. Узнав о том, что Галя решила “сидеть на творчестве Щеголева”, я не стал просить у нее ничего; даже послал ей через третье лицо два стихотворения, которых она могла не иметь” (собрание Е. Витковского).

¹ В единственном сохранившемся письме к Е. Витковскому (1974) Щеголев писал, что ему удалось восстановить по памяти около 100 стихотворений.

¹ «С этого года [1929 – В.Р.] и до 1947 года включительно я опубликовал, вероятно, до двухсот стихотворений. Однако, начиная с 1937 года, я стал постепенно видеть себя скорее журналистом-публицистом, нежели поэтом, и поэтому стал всё меньше уделять внимания стихам. По этой же причине я не собирал ранее опубликованных стихов и своего личного сборника так никогда и не выпустил» (Письмо к А. Ревоненко от 26.10.1967 // «Будто нет расстоянья и времени нет...» Из писем поэтов, бывших эмигрантов, к А.В. Ревоненко. Хабаровск, 2006. С. 67).

² Как сообщал В. Перелешин в письме к Е. Витковскому от 7 сентября 1990 г., «<...> в последний период жизни поэт сильно пил: от советской жизни только и оставалось ему, что искать истины в вине. Умер он 15-го марта 1975 года в Екатеринбурге, обесчещенном царевубийством и переименованием в Свердловск. Его вдова Галя, которую я изредка встречал в Шанхае, почему-то решила зажать его литературное наследие и никого к нему не подпускает. А время идет, и в СССР он скоро будет забыт – до общего воскресения русских поэтов и прозаиков, писавших в эмиграции,

Составители приносят глубокую благодарность всем, кто способствовал появлению на свет этой книги. С признательностью мы вспоминаем современников Щеголева – ныне покойных Валерия Перелешина и Владимира Слободчикова, щедро делившихся своими воспоминаниями о поэте и относящимися к нему материалами. Неоценим вклад в издание Зинаиды Алексеевны и Михаила Владимировича Пуляевских (Дегтярск, Свердловская обл.), сохранивших материалы личного архива Щеголева и предоставивших их для издания. В поиске труднодоступных публикаций Щеголева помогали: в России – Елена Марцыновская (Хабаровск); за рубежом – Ли Мэн (Чикаго), Патрисия Полански (Гонолулу), Андрей Устинов (Сан-Франциско), Лазарь Флейшман (Стэнфорд). В подготовке материалов к изданию помогали и консультировали составителей: Евгений Витковский (Москва), Галина Эфендиева (Благовещенск), Евгений Будницкий, Илья Будницкий, Алексей Густов, Виктор Потриваев, Диана Пыркова, Анна Стародубцева (все – Екатеринбург). Фотография Щеголева с братьями Лапикен предоставлена Владимиром Владимировичем Шкуркиным, публикуется впервые с любезного разрешения The Shkurkin Far East Archive (San Pablo, California).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Архив* – материалы личного архива Н. Щеголева (собрание З. и М. Пуляевских)
- Из* – Излучины: Стихи. Харбин, 1935.
- ИМЛИ* – Кабинет архивных фондов эмигрантской литературы им. И.В. Чиннова (Отдел рукописей Института мировой литературы РАН, Москва). Ф. 606 [В. Перелешин]. Оп. 5.3. Ед. хр. 44.
- МЖТ* – «Мы жили тогда на планете другой...»: Антология поэзии русского зарубежья: 1920–1990 (первая и вторая волна): В 4-х кн. / Сост. Е.В. Витковского; Биогр. справки и коммент. Г.И. Мосешвили. Кн. 4. М.: Московский рабочий, 1997.
- МЧ* – газета «Молодая Чураевка» (Харбин)
- О* – Остров: Сб. ст-ний. Шанхай, 1946.
- Пн* – журнал «Понедельник» (Шанхай)
- Р* – журнал «Рубеж» (Харбин)
- РПК* – Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд, О. Бакич. М.: Время, 2001.
- Сборник* – машинописный свод стихотворений Н. Щеголева (*Архив*)
- Семеро* – Семеро: Сб. ст-ний. Харбин: Молодая Чураевка, 1931.
- ХВРД* – Харбин. Ветка русского дерева: Проза. Стихи / [Сост. Д.Г. Селькина, Е.П. Таскина; Вступ. ст. Е. Таскиной]. Новосибирск: Кн. изд-во, 1991.
- Ч* – газета «Чураевка» (Харбин)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ХАРБИН 1930–1935

- С. 7. **Жажда свободы.** *Р. 1930. № 18. -- *Семеро. Сборник*; дата ошибочно – 1933.
- С. 8. **Стансы.** Р. 1930. № 28. *Сборник*, без загл.; дата ошибочно – 1932; опечатка – ст. 3: «наше» вм. «ваше»; варианты – ст. 7: «быть» вм. «стать»; ст. 16: «недоступным» вм. «поднебесным»; ст. 21: «безысходно» вм. «обиходно».
- С. 9. **В кинематографе.** Р. 1930. № 42.
- С. 11. **За временем!** Р. 1930. № 47. -- *Семеро. Сборник*; дата ошибочно – 1933.
- С. 12. **Память видит.** Р. 1930. № 50. -- *Семеро. Сборник*; дата ошибочно – 1933.
- С. 13. **Правдивость.** Пн. 1930. № 1, сент.
- С. 14. **Там...** Машинопись – Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5869 [Редакция журнала «Вольная Сибирь»]. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 80; приложено к письму Щеголева к И.А. Якушеву от 23 июля 1930.
- С. 15. **Диссонанс.** Пн. 1931. № 2, дек.
- С. 16. **Поровну.** Р. 1931. № 30. *Сборник*, под загл. «Равновесие»; варианты:

строка	4	Хорошо ли нам, люди, на свете таком?..
	7–8	Отчего же так весело и полновесно
		Половина людей, бедам назло, живет?..
	9–10	Кто поймет, отчего, все ушибы презревши,
		С потогонной работы иду я домой
	13	И когда мне болтают: «Депрессия, кризис»
	20	отсутствует

- С. 17. **«Я близок к устью...».** Ч. 1933. № 10 (4), 14 нояб. *Сборник*, под загл. «Дым» (в *ХВРД* по этому источнику). Авториз. машинопись – *ИМЛИ*, под загл. «Дым»; варианты – ст. 10: «Семь дней подряд...»; ст. 13: «Влачить» вм. «Нести»; ст. 20: «Греющихся» вм. «Шумящих» (в *РПК* по копии с этого источника; источник не указан; ошибочно указано, что ст-ние написано на тему «Пятницы», но почему-то не попало в О). Копия В. Перелешина – собрание Е. Витковского; редакция авториз. машинописи; помета: «Помнится, в “Чураевке” значилось: “туман и сырость три дня подряд...” В одном из вариантов было “через много шумящих лет”»: эпитета Щеголев долго не находил».
- С. 19. **Гонг.** *РПК*, по неизвестному источнику из архива составителя. *Сборник*. Авториз. машинопись – *ИМЛИ*.
- С. 20. **Ровно в восемь.** Р. 1931. № 31.
- С. 21. **Покушавшемся.** *Р. 1931. № 32. -- *Семеро. Сборник*; дата ошибочно – 1934; в ст. 7 второе и третье слова пропущены; вариант – ст. 6: «упустил» вм. «потерял».
- С. 22. **За городом.** Р. 1931. № 34.
- С. 23. **Серебряные дни.** Р. 1931. № 45.
- С. 24. **Отупение.** *Р. 1931. № 45. -- *Семеро. Сборник*; дата ошибочно – 1932.

- С. 25. **От самого страшного.** *Семеро. Сборник*; дата ошибочно – 1933.
- С. 26. **Друзьям.** *Семеро. Сборник*; дата ошибочно – 1933.
- С. 27. **«Устаю ненавидеть...».** Багульник: Лит.-худ. сб. Кн. I. Харбин, 1931. *Сборник*.
- С. 29. **«Вечер. Горизонт совсем стушеван...».** Ч. 1932. № 7 (1), 27 дек. *Сборник*, под загл. «Вечер»; варианты:

1	Вечер. Горизонт почти стушеван.
7	Словно Гоголь я – в турецкой феске,
12	За рабочим письменным столом...
13	За окном уже горят веранды...
17	Вот сегодня я читал Толстого, –
23	Только вот теперь моя тревога

Авториз. машинопись – *ИМЛИ*, под загл. «Вечер»; редакция *Сборника*. Копия В. Перелешина – собрание Е. Витковского; редакция *Сборника*; помета: «Это стихотворение было напечатано в одном из номеров газеты “Чураевка”. Первое “приключение” произошло именно с этим стихотворением: в тогдашнем варианте значилось “Обожаю внешние причуды и, в особенности, за столом”. Напечатано было “Обножаю”, что воспринималось как “обнАжаю”, и читательское воображение воспламенялось: что именно обнАжает Николай Щеголев под столом? Второе забавное искажение вкралось в предпоследнюю строку: напечатано было “Я, казенный, как поэт Рылеев”. Рылеев был повешен, но мы не знали, что он был “казенным”! Щеголев только посмеивался: у него было чувство юмора».

- С. 30. **«Нас всё время наказывал Бог...».** Ч. 1933. № 11 (5), февр. *Сборник*.
- С. 31. **Сон.** Р. 1934. № 22. *Сборник*; варианты:

6	И каждому тысяча лет...
14–15	В запущенном замке, в пыли, Над всеми владычит чудовище,
17	Холодное, злое, безмолвное,
22	Тосклив, неприятен и мшист, –
24	Без грезы, без слез, без души!

Авториз. машинопись – *ИМЛИ*; редакция *Сборника*, кроме ст. 24: «музы» вм. «грезы».

- С. 32. **Бог.** *Сборник*.
- С. 33. **Витринная кукла.** Р. 1932. № 31.
- С. 34. **Зима близка.** Р. 1932. № 39.
- С. 35. **«Всем мои стихи доступны, – всем ли?...».** МЧ. 1932. № 1, 3 июля.
- С. 36. **Опыт.** МЧ. 1932. № 4, 24 июля. *Сборник*, под загл. «Эмигрантское (фрагмент)», без строфы I; дата ошибочно – 1934 (в *ХВРД* по этому источнику).
- С. 37. **Лермонтов.** Ч. 1933. № 11 (5), февр. *Сборник*.
- С. 38. **«Люби меня всей чистотой...».** Ч. 1934. № 12 (6), май. -- *Р. 1934. № 19. *Сборник*; вариант – ст. 20: «Встает» вм. «Растет».
- С. 39. **Муть.** Ч. 1934, окт. В *Сборник* ошибочно включено дважды: 1) редакция Ч; 2) под загл. «Достоевщина»; дата ошибочно – 1935; варианты:
- | | |
|-----|--|
| 1–2 | Дни осенние. Синий,
Чуть приплюснутый свод. |
| 5–9 | И знакомый мой старый,
Закадычный мой друг
Под гармонь иль гитару
Закручинится вдруг. |

11 И пропьянствует сутки
 13–16 И плохие тут шутки! –
 отсутствуют
 17 Всхлипнет гаденький Гамлет,

- С. 40. «Мне скучно. Будильник...». Р. 1933. № 28. В *Сборник* ошибочно включено дважды: 1) редакция Р; варианты – ст. 2: «Шуршит» вм. «Стучит»; ст. 5: «И вдруг, словно пенье»; ст. 7: «Прихлынет» вм. «Нахлынет»; ст. 15: «А люди» вм. «Что люди»; 2) под загл. «С Лермонтовым»; дата ошибочно – 1935; варианты:

1 Бывает: будильник
 3–4 Сижу малосильный,
 Пустой, угнетенный...
 вместо 5–8 Но только раскрою
 Ту старую книгу,
 Что налита кровью, –
 Достаточно мига,
 Чтоб тихо и строго,
 Как старая рана,
 Открылась тревога,
 Что старюсь и рано,

Авториз. машинопись – *ИМЛИ*; варианты – ст. 2: как в *Сборнике* 1; ст. 5: «Но вдруг, словно пенье». Копия В. Перелешина – собрание Е. Витковского; редакция авториз. машинописи; помета: «Возникло это стихотворение, вероятно, в 1933-ем году, когда Щеголев был председателем Литературной студии Чураевки при ХСМЛ. Последняя строфа циркулировала по кулуарам с небольшими изменениями: “Но Андерсен вьется, Крылами звеня, А Гранин смеется И дразнит меня”».

- С. 41. «От замыслов моих, не подкрепленных...». Числа. 1933. Кн. 9, май. *Сборник*; дата ошибочно – 1934. В *РПК* в качестве источника указано: «из частного собрания».

- С. 42. «Слова, сорваться с уст готовые...». Р. 1933. № 28.

- С. 42. *Сирена*. Р. 1933. № 30. -- Из. *Сборник*; дата ошибочно – 1935; опечатки – ст. 1: «поджав» вм. «поджатые»; ст. 7: «топчется» вм. «толчется» (в *ХВРД* по этому источнику, опечатки не исправлены). Автограф в альбоме В. Перелешина – *Кабинет* архивных фондов эмигрантской литературы им. И. В. Чиннова (*Отдел рукописей Института мировой литературы РАН, Москва*). Ф. 606 [В. Перелешин]. Оп. 5.2. Ед. хр. 1 (факсимиле – Остров Лариссы: Антология стихотворений поэтов-дальневосточников / Под ред. Э. Штейна. Орандж, 1988). Машинопись (копия) – *ИМЛИ*; примечание В. Перелешина: «Во время одной из наших долгих прогулок сам Николай Александрович рассказывал мне, что *сирена* – девушка, которая ему очень нравилась, что *фавн* – его более счастливый соперник. Как помнится, фамилия его была Баллод (латышская), отличительной чертой которого была волосатость. “*Красивый человек*” – сам Щеголев. Не был он очень красив, но имел здесь в виду свое внутреннее богатство по сравнению с Баллодом. Банальная ситуация перерастает здесь в стройный ряд символов».

- С. 43. *Осенняя улыбка*. Р. 1933. № 48. *Архив*, без загл., без строф II–III (заменены отточием); варианты:

1–4 Сегодня дождливо. И в парке не встретились мы.
 Надсадно колотится сердце – оно неумно.
 И смерклося рано. И день суеты, кутерьмы
 Тьмой ночи проглочен, безлунной, беззвездной, огромной.
 14 Как солнце, как месяц, как звезды, –
 как всё во вселенной, –
 19 В ней небо не меркнет.
 И радостно грезится мне,

- С. 44. «Розовело небо, задыхался колокол...». *Парус. 1933. № 11. *Сборник*, под загл. «Пожар»; дата ошибочно – 1934. Авториз. машинопись – *ИМЛИ*, под загл. «Пожар»; варианты:

9–16 Также шли мужчины с женщинами под руку, –
 Локоть к локтю туго...
 Старичок моргал, посапывал, но бодренько
 Двинулся за угол...
 Тут-то и промчались с громом каски медные,
 Тут его и сбили...
 И опять помчались с ветром люди бледные,
 Рев автомобилей,

С. 45. «**Ты помогала мне в успехе...**». Ч. 1933. № 8 (2), 7 февр., № 1 в подборке «Три стихотворения»; общая дата – 12 января 1933. *Сборник*; дата ошибочно – 1931; вариант – ст. 11–12: «А я в квадрат кирпичный втиснут – / И снова впитываю тишь».

С. 46. «**На сердце пусто и мертво...**». Ч. 1933. № 8 (2), 7 февр., № 2 в подборке «Три стихотворения»; общая дата – 12 января 1933. *Сборник*.

С. 47. «**Я грею ледяную руку...**». Ч. 1933. № 8 (2), 7 февр., № 3 в подборке «Три стихотворения»; общая дата – 12 января 1933. *Сборник*.

С. 47. **Русский художник**. *Парус. 1933. № 11. *Сборник*. Машинопись (копия) – *ИМЛИ*; помета: «Харбин, февраль 1933 года. Прислано Валерию Перелешину Ларисой Андерсен».

С. 48. **Отказ**. Ч. 1934, окт. *Сборник*; опечатка – ст. 1: «Попытка» вм. «Попытки»; вариант – ст. 12: «И» вм. «Я».

С. 49. **На балу**. Р. 1935. № 3. *Сборник*, без загл.; варианты:

2–3 Со мной вплотную оно...
 Всё ввысь взлетело,
 5–8 отсутствуют
 10 Морозной ночью на бал...
 12 Я твердо руку подал
 13–16 В подъезде...

Швейцары
 У вешалок, стоя, спят.
 Недаром, недаром
 Тяжелый мой жаден взгляд...
 18–19 Мне душу колышет вновь...
 Как страшно и грустно,
 21–24 Что в ней не только
 Добра и заботы свет,
 Что, как ни больно,
 А иного выхода нет...
 28 Прерывно, тяжело дыша,
 30 Как ворон, вздымаю я...

С. 50. **Маскарад**. МЖТ. С. 59. *Сборник*. Авториз. машинопись – *ИМЛИ*.

С. 52. **Хотелось бы**. *Сборник*; опечатка – ст. 10: «складывающихся» вм. «складывавшихся». Авториз. машинопись – *ИМЛИ*, без загл.; опечатка – ст. 4: «захлебывающаяся» вм. «захлебывавшаяся».

С. 53. **Почему?** *Сборник*. Авториз. машинопись – *ИМЛИ*.

С. 55. **Прекрасный мир**. Р. 1934. № 8. Включено в содержание *Сборника* (по первой строке); текст отсутствует.

С. 56. **Отрочество**. Ч. 1934. № 12 (6), май. -- Р. 1934. № 19. *Сборник*; дата ошибочно – 1936; опечатки – ст. 7: «нервозность» вм. «неровность»; ст. 10: «Высказывания» вм. «Высказываний»; ст. 17: «признак» вм. «призрак»; варианты – ст. 3: «Вначале» вм. «Недавно»; ст. 16: «возбужденной» вм. «беспокойной» (в *ХВРД* по этому источнику, опечатки не исправлены). Авториз. машинопись – *ИМЛИ*; варианты:

1–4 Дни отрочества... Сердца стуки,
 Мятающаяся голова,
 Сожженные на свечке руки,

Самозаклятия слова, –
 7 Безжалостность к себе, неровность,
 14–18 На смех ее – ответный мой
 Смех гордеца, поднятье штанги,
 Гимнастика, придя домой,
 И жалостное олимпийство,
 Приобретенное в тиши...
 после 20 Всё это было. Миновало.
 Но с прежней силой сердце жжет.
 Ведь память всё в своих подвалах
 Равно любовно бережет.

Копия В. Перелешина – собрание Е. Витковского; редакция авто-
 риз. машинописи.

- С. 57. **«Я сегодня от скуки далек...»**. Р. 1934. № 32.
- С. 57. **В раздумьи**. Р. 1934. № 34. В РПК источник не указан.
- С. 58. **Стихи о разлуке**. Р. 1934. № 36. *Сборник*, под загл. «Стихи о разлуках»; №№ 1 и 2 следуют в обратном порядке, под № 3 – стих «Два поезда»; варианты – № 1, ст. 8: «темную» вм. «сонную»; № 2, ст. 4: «вскрики» вм. «всхлипы».
- С. 60. **Жизнь**. Р. 1934. № 38.
- С. 61. **Война и мир**. Ч. 1934, окт. *Сборник*, под загл. «Перечитывая “Войну и мир”»; дата ошибочно – 1935; варианты – ст. 1: «книжки» вм. «книжки»; ст. 5: «дыма» вм. «шума»; ст. 7: «этот» вм. «горький»; ст. 11: «признаю» вм. «приношу».
- С. 61. **Обновленье**. Ч. 1934, окт. -- Р. 1934. № 45. -- Из. *Сборник*; дата ошибочно – 1935.
- С. 63. **«Отряхни свою внешнюю скуку...»**. Р. 1934. № 50.
- С. 64. **Твердость**. Р. 1934. № 52.

- С. 65. **«Как мало светлых снов сбывалось!..»**. Р. 1934. № 11. *Сборник*; варианты:

2 Но ты пришла, но ты сбылась.
 7–10 И это низенькое небо,
 И эта черная земля,
 И чахлые ночами звезды,
 И ветер, воющий в полях,
 13 Все знаки смерти и ненастья,
 15–16 Всё нынче кажется мне счастьем,
 Когда-то виденным во сне...
 17–20 *отсутствуют*
 21–22 Да, ты сбылась! Да, счастье будет!..
 И – что ни думай, ни гадай –

Авториз. машинопись – ИМЛИ.

- С. 66. **«Да, я бесчувственен, негибок...»**. Р. 1934. № 25. *Сборник*; вариант – ст. 9: «Но» вм. «А». Авториз. машинопись – ИМЛИ; вариант – ст. 1: «Да, я бесчувствен и негибок».
- С. 67. **«Ничего не пропадает даром...»**. *Сборник*.
- С. 67. **«Ничего у тебя не прошу...»**. Р. 1935. № 13.
- С. 68. **Живая муза**. *Феникс. 1935. № 6. Печ. по РПК.
- С. 69. **Два поезда**. *Р. 1935. № 6. -- Из. В *Сборник* ошибочно включено дважды: 1) редакция Из; 2) № 3 в цикле «Стихи о разлуках»; опечатка – ст. 2: «вокзал» вм. «вокзале»; варианты – ст. 5: «И тот» вм. «Свисток...»; ст. 6: «неведомую» вм. «лазоревою»; ст. 13–14: «Что будет день, тоскою не томящий, / Свет глаз твоих, осуществленный сон...».
- С. 70. **«Одно ужасное усилие...»**. Из. *Сборник*.
- С. 71. **Музыка**. *Сборник*. Авториз. машинопись – ИМЛИ; варианты – ст. 1: «отуманена» вм. «затуманена»; ст. 9–10: «Аккорды рыдваном

протащатся, / Попав в колею на пути,»; ст. 17: «А завтра всё то, что запишется».

С. 72. **Ничего.** *Сборник.*

ШАНХАЙ 1937–1946

С. 73. «**Я этого ждал...**». *Сборник.*

С. 75. **Встреча.** *МЖТ. Сборник. Архив*, под загл. «Данилов»:

Бездумный, бездомный, –
С тоской: «не бывать мне в Москве», –
Я завтрак свой скромный
Жевал в низкопробном кафе.

Вдруг с улицы люмпен
Ко мне – со спины – подошел.
Жуя, мы не любим,
Чтоб нищий торчал над душой.

Достал я десятку
(В войну это два-три гроша)
И сунул, как взятку,
Чтоб освободилась душа...

Но он не отходит, –
Ночлежек дитя и трущоб, –
Гнусаво выводит:
«Пожалуйста, мистер, еще...»

Жую я закуску
И злось, что торчит над душой
Сей спившийся русский...
До ручки, как видно, дошел.

Я сам не без тягот
Живу – тем и жив, что не пью...
И тут я беднягу,
Всмотревшись в лицо, узнаю.

Лицо непохоже,
Одежда в пуху и в пыли,
Но это ж... Сережа
Данилов (мы вместе росли).

С тех пор лет пятнадцать
Прошло – он меня не узнал...
Как мог так сорваться?
Как скоро он рухлядью стал!..

Со свистом вздыхая,
Зачем он стоит над душой?
Зачем он в Шанхае?..
Я вздрогнул и встал и ушел.

Ушел воровато
И думал о нем целый день...
Какие утраты!
И сколько развалин-людей!..

Я думал уныло,
С неделю бродя сам не свой:
«Сережа Данилов –
Частица меня самого.

Давно ли, упрямый,
Я стал, как есенинский клен,
Опавший, и сам я,
И сам я не очень силен...

Всё видя, всё зная,
Себе мы не в силах помочь...
Вся жизнь — как сквозная,
Почти непроглядная ночь!»

Шанхай, 1940
Свердловск, 1974

- С. 77. **Пианистка.** *Архив.* Авториз. машинопись — *ИМЛИ*, без посвящ., без даты; варианты:

вместо 13–20 Вопросы злы. Вопросы лезут в уши.
Быть может, тут гипноз иль плоти пыл?
Быть может, музыка слила их души?
Быть может, человек тут не задущен?
Нет, проще, проще, — он ее купил.

- С. 78. **В такие дни...** Стихи о Родине. Шанхай, 1941. *Сборник*; варианты:

2 Вопрос наивный и второстепенный.
4 Война решает просто и мгновенно...
6–7 Любой меня нужнее и ценнее,
Но смертной мглою их заволокло
между 8 и 9 Когда-то был расстрелян Гумилев
За бешеную ненависть к Октябрьской...
Да, был он мастером чеканных слов,
Но был в плену у психики сатрапской.
9 В дни бушеванья стали и свинца,
11–12 И Гумилев бы дрался до конца

16 И был бы вместе с Блоком, с Маяковским!..
Тогда пощады нет и Гумилеву!

- С. 79. **Как писать?** Стихи о Родине. Шанхай, 1941.

- С. 80. **Родина.** *Сборник.*

- С. 81. **Город и годы.** *Сборник.*

- С. 85. **Шанхай — 1943.** *Сборник.* Опечатка — строфа V, ст. 6: «одной» вм. «едкой». В строфе III, ст. 7, возможно, пропущено слово.

- С. 87. **Разные люди.** *Архив.*

- С. 89. **Карусель.** *О. Сборник.* Авториз. машинопись — *ИМЛИ*; варианты:

8–9 В Москве, при Керенском еще.
Второй, что с ним сидел, ответил
13–14 И первый, мямля еле-еле
Продолжил: — «Что-то даст апрель?..
17–19 И третьего — меня — пришибло, сдавило
Этим монотонным грузом буден,
На котором штамп:
«Так было —

(в *МЖТ* по этому источнику).

- С. 90. **Камея.** *О. Сборник.*

- С. 91. **Светильник.** *О. Сборник.*

- С. 92. **Море.** *О. Сборник.*

- С. 93. **Химера.** *О. Сборник.*

- С. 95. **Пустыня.** *О. Сборник.*

- С. 96. **Ангелы.** *О. Сборник.*

- С. 97. **Феникс.** *О. Сборник.*
- С. 98. **Сквозь цветное стекло.** *О. Сборник. Архив*, под загл. «Сквозь цветное стекло или Вертинский»; помета: «Шанхай. 1946»; варианты – ст. 9: «И вот опять уныло волокутся»; ст. 13–14: «И словно трутень, раздобрев меж пчел, / Отклонялся Вертинский и ушел».
- С. 99. **Кошка.** *О. Сборник.*
- С. 100. **Достоевский.** *О. Сборник.*
- С. 101. **Россия.** *О. Сборник.*
- С. 102. **Дом.** *О. Сборник.*
- С. 104. **Зеркало.** *О. Сборник.*
- С. 106. **Поэт.** *О. Сборник.*
- С. 107. **«Я денно и ночью молился суровому богу...».** *Архив.*
- С. 108. **«Человек умрет. Его забудут...».** *Сборник.*
- С. 109. **В первые дни после 9 мая 1945 года.** *Сборник.*
- С. 110. **Расстались!..** *Архив.*

СВЕРДЛОВСК 1950–1974

- С. 112. **Журналист.** *Архив.* В *Сборнике* без загл., только две последние главы; дата – 1954:

Но нет! Всё это было, и – не зря!..
...В то утро (буду протокольно краток)

Сошлись в палате мы, его друзья.
Молчим и прячем от него глаза.
И он заговорил:

«Не надо прятков,
Да и от правды спрятаться нельзя...
Живем на политической помойке,
Под оккупантами, чуть не в плену.
Но я – и лежа вот на этой койке –
Настроен на московскую волну.
Конечно, танк пером не протаранишь,
И пишмашинка – жаль! – не автомат,
Но мы-то стали жить не так, как раньше,
Нам жить и дальше – Гитлер в общем смят...
Жить!» – повторил он, сам уже весь выжжен
Бессонницей, сразившею его...
Вздыхнул рывком и лег, навек недвижим,
Глаза – как лед, лицо – как мел, мертво...

*

И если я что смыслю в ленинизме,
Я этот смысл, по-моему, извлек
Из этой щедрой, хоть недолгой жизни...
Мне эта смерть – опора и урок!

- С. 116. **Герцен.** *Сборник.*
- С. 118. **«Разбросана, раздроблена жизнью...».** *Сборник.*
- С. 119. **Ипохондрическое.** *Сборник.*
- С. 119. **«Настольной лампы матовая стылость...».** *Сборник.*
- С. 120. **Всё заново!..** *Сборник.*
- С. 121. **Эренбург.** *Сборник.*

С. 122. «...Вот опять капли пота...». *Сборник*.

С. 124. «Как тебя я увидел во сне...». *Сборник*.

С. 125. **У своего же огня.** *Сборник*. Конъектуры – строфа III, ст. 2 («Всё для чего-то храню»); строфа X, ст. 1 («Вытянусь перед ними в салюте, –»); там же, ст. 3 («Пусть, пока я живу, эти люди»). *Архив*; др. ред.:

<i>I</i>	3–4	Сутками вгрызался я в книги, Чтением себя пламеня.
<i>II</i>	3–4	Что-то всё строчил, но, уставши, Бросил это дело опять.
<i>III</i>	3	Выцветшей бумаги полоски
<i>IV</i>	3	Умершего папы-кассира
<i>V</i>	2–4	Вызавшая горе-стихи... В верности ей вечной клянуся я, Нежные пишу пустяки...
<i>VI</i>	1–2	Вдруг, как давней давности вести, Вынырнул измятый блокнот:
	4	В буквах карандашных встает.
<i>VII</i>	2	Помнят из блокнота листки
<i>VIII</i>	1	Жил я нелегко. Годы мчались,
	3	Но не о себе я печалюсь
<i>IX</i>	1–3	Больно за людей, тех, что бледно, Тихо проживут и уйдут...
		Всё ж они не пропали бесследно, <так!>
<i>X</i>	1–4	Пусть, пока живу, это будет, Жизнью пусть живут неземной Канувшие в прошлое люди, Шедшие в свое время со мной. <так!>

1973

С. 127. «Равняясь по самым высоким вершинам...». *Сборник*.

НЕДАТИРОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С. 128. **Заговор.** *РПК*. С. 572; источник не указан.

С. 129. **Осеннее.** *Архив*.

С. 130. «Стрясется же *такое* с человеком...». *Архив*.

С. 132. **Другу В.С.** *Архив*. В.С. – Виталий Алексеевич Серебряков (1916–1992), близкий друг Щеголева. С 1920 г. в эмиграции в Маньчжурии. Один из основателей (вместе со старшим братом Владимиром) джаз-оркестра под руководством Олега Лундстрема. Принимал участие в деятельности Союза возвращенцев, где познакомился с Петерцем и Щеголевым. На его квартире (Рут Груши, 10) собирался кружок «Пятница». В 1947 репатриировался в СССР. Главный специалист-сварщик треста «Уралсантехмонтаж». В 1989 г. закончил документальную повесть «Полжизни в эмиграции (воспоминания о далеком прошлом)», в которой посвятил «Пятнице» отдельную главу.

С. 133. **Стансы к Августе.** *Архив*. Переложение ст-ния Д. Г. Байрона “Stanzas to Augusta”, 1816 (Though the day of my Destiny’s over...).

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

С. 137. **Полдень.** *МЧ*. 1932. № 2, 10 июля. С. 1.

РАССКАЗЫ

- С. 141. Телеграмма. *Р.* 1930. № 45.
- С. 148. Происшествие в парке. *Р.* 1934. №№ 13, 14. Фрагмент главки 5 в ранней редакции – *Ч.* 1933. № 10 (4), 14 нояб. К сожалению, в нашем распоряжении оказалась копия с дефектного экземпляра № 13 журнала «Рубеж» – в нем отсутствует одна страница с фрагментом текста рассказа; попытки отыскать ее не дали результата. Поскольку логика повествования не нарушена, мы решили не исключать рассказ из наст. издания; отсутствующий фрагмент (судя по всему, небольшой) обозначен строкой точек в угловых скобках.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

- С. 185. Мир. В. С. Яновский. «Парабола», Берлин. 1931. *МЧ.* 1932. № 4, 24 июля. Подпись: Н. Щ-ев.
- С. 188. О детективных романах. *МЧ.* 1932. № 6, 6 авг. Подпись: Н.Щ.
- С. 190. О Марианне Колосовой. *МЧ.* 1932. № 6, 6 авг. Подпись: Н. Щ-ев.
- С. 183. Мысли по поводу Лермонтова. *Ч.* 1933. № 8, 7 февр.
- С. 204. Числа IX. Париж. *Ч.* 1933. № 10 (4), 14 нояб. Подпись: Н. 3-ов.
- С. 209. Памяти Андрея Белого. *Ч.* 1933. № 11 (5), февр.

- С. 215. О творчестве (отрывок из доклада). *Ч.* 1934. № 12 (6), май.
- С. 220. Гежелинский «Об искусстве». *Ч.* 1934. № 12 (6), май. Подпись: Н.З. Речь идет о книге: Гежелинский Г.Г. Заметки об искусстве. Харбин, 1933. Гежелинский – один из псевдонимом Николая Александровича Сетницкого (1888–1937), философа, последователя идей Н.Ф. Федорова.
- С. 223. О роли харбинской Чураевки. *Ч.* 1934, окт.
- С. 227. «Через океан». Арсений Несмелов. *Ч.* 1934, окт. Подпись: Н.З.
- С. 231. Предисловие <к сборнику «Остров»>. *О.*

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ХАРБИН 1930–1935

Жажда свободы	7
Стансы	8
В кинематографе	9
За временем!	11
Память видит	12
Правдивость	13
Там	14
Диссонанс	15
Поровну	16
«Я близок к устью...»	17
Гонг	19
Ровно в восемь	20
Покушавшемуся	21
За городом	22
Серебряные дни	23
Отупение	24
От самого страшного	25
Друзьям	26

«Устаю ненавидеть...»	27
«Вечер. Горизонт совсем стусеван...»	29
«Нас всё время наказывал Бог...»	30
Сон	31
Боги	32
Витринная кукла	33
Зима близка	34
«Всем мои стихи доступны, – всем ли?...»	35
Опыт	36
Лермонтов	37
«Люби меня всей чистотой...»	38
Муть	39
«Мне скучно... Будильник...»	40
«От замыслов моих, не подкреплённых...»	41
«Слова, сорваться с уст готовые...»	42
Сирена	42
Осенняя улыбка	43
«Розовело небо, задышался колокол...»	44
«Ты помогала мне в успехе...»	45
«На сердце пусто и мертво...»	46
«Я грею ледяную руку...»	47
Русский художник	47
Отказ	48
На балу	49
Маскарад	50
Хотелось бы	52
Почему?	53
Прекрасный мир	55
Отрочество	56

«Я сегодня от скуки далек...»	57
В раздумьи	57
Стихи о разлуке	58
Жизнь	60
Война и мир	61
Обновление	61
«Отряхни свою внешнюю скуку...»	63
Твердость	64
«Как мало светлых снов сбывалось!..»	65
«Да, я бесчувственен, негибок...»	66
«Ничего не пропадает даром...»	67
«Ничего у тебя не прошу...»	67
Живая муза	68
Два поезда	69
«Одно ужасное усилие...»	70
Музыка	71
Ничего	72

Шанхай 1937–1946

«Я этого ждал...»	73
Встреча	75
Пианистка	77
В такие дни...	78
Как писать?	79
Родина	80
Город и годы	81

Шанхай – 1943	85
Разные люди	87
Карусель	89
Каменя	90
Светильник	91
Море	92
Химера	93
Пустыня	95
Ангелы	96
Феникс	97
Сквозь цветное стекло	98
Кошка	99
Достоевский	100
Россия	101
Дом	102
Зеркало	104
Поэт	106
«Я денно и ночью молился суровому богу...»	107
«Человек умрет. Его забудут...»	108
В первые дни после 9 мая 1945 года	109
Расстались!..	110

Свердловск 1950–1974

Журналист	112
Герцен	116
«Разбросана, раздроблена жизнью...»	118

Ипохондрическое	119
«Настольной лампы матовая стылость...»	119
Всё заново!.....	120
Эренбург	121
«...Вот опять капли пота...»	122
«Как тебя я увидел во сне...».....	124
У своего же огня.....	125
«Равняясь по самым высоким вершинам...»	127

НЕДАТИРОВАННОЕ

Заговор	128
Осеннее	129
«Стрясется же <i>такое</i> с человеком...»	130
Другу В.С.....	132
Стансы к Августе	133

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

Полдень	137
---------------	-----

ПРОЗА

РАССКАЗЫ

Телеграмма	141
Происшествие в парке	148

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Мир. В. С. Яновский. «Парабола», Берлин. 1931	185
О детективных романах.....	188
О Марианне Колосовой	190
Мысли по поводу Лермонтова	193
Числа IX. Париж	204
Памяти Андрея Белого	209
О творчестве (Отрывок из доклада).....	215
Гежелинский «Об искусстве»	220
О роли харбинской Чураевки.....	223
«Через океан». Арсений Несмелов.....	227
Предисловие <к сборнику «Остров»>	231

<i>А. Забияко. «Мои это годы, моя это боль и судьба!»</i>	
<i>Жизнь и творчество Николая Щеголева</i>	
<i>в контексте судьбы «взыскующих поэтов»</i>	
<i>дальневосточного зарубежья</i>	238

<i>Примечания.....</i>	310
------------------------	-----

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
Щ34

Составление *А.А. Забияко* и *В.А. Резвого*
Подготовка текста и примечания *В.А. Резвого*
Послесловие *А.А. Забияко*

Оформление *М. и Л. Орлушиных*

Щеголев Н.А.

Щ34 Победное отчаянье: Собрание сочинений / Сост. А.А. Забияко и В.А. Резвого. – М.: Водолей, 2014. – 352 с. – (Серебряный век. Паралипоменон).

ISBN 978–5–91763–193–6

Николай Александрович Щеголев (1910–1975) – один из наиболее ярких поэтов восточной ветви русской эмиграции первой волны, активный участник поэтических студий «Молодая Чураевка» (Харбин) и «Пятница» (Шанхай), талантливый критик. Щеголев не заботился о сохранении своего поэтического наследия, а по возвращении в 1947 г. в СССР и вовсе отошел от активной творческой деятельности. Настоящее издание с максимальной на сегодняшний день полнотой представляет творчество Щеголева – стихотворения, прозу и статьи на литературные темы.

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

Щеголев Николай Александрович

Победное отчаянье

Собрание сочинений

Технический редактор *А. Ильина*
Корректор *Н. Федотова*

Подписано в печать 10.04.14. Формат 70х108/32. Бумага офсетная
Гарнитура Таймс. Печать цифровая. Печ. л. 11
Заказ №

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>
E-mail: info@vodoleybooks.ru

ФГУП Издательство «Известия» Управления делами
Президента Российской Федерации
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6.
Контактные телефоны: 650-38-80
<http://izv.ru>



Алексеева Л. А. Горькое счастье: Собрание сочинений. 2007. – 416 с. – (Малая серия).

Големба А. С. Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения. 2007. – 384 с. – (Малая серия).

Меркурьева В. А. Тщета: Собрание стихотворений. 2007. – 608 с. – (Малая серия).

Соловьев С. М. Собрание стихотворений. 2007. – 856 с. – (Большая серия).

Петров С. В. Собрание стихотворений: В 2 кн. 2008. – 616 + 640 с. – (Большая серия).

Позняков Н. С. Преданный дар: Избранные стихотворения. 2008. – 176 с. – (Малая серия).

Щировский В. Е. Танец души: Стихотворения и поэмы. 2008. – 200 с. – (Малая серия).

Голохвастов Г. В. Гибель Атлантиды: Стихотворения. Поэма. 2008. – 576 с. – (Большая серия).

Верховский Ю. Н. Струны: Собрание сочинений. 2008. – 928 с. – (Малая серия).

Барт С. В. Стихотворения. 1915–1940. Проза. Письма. 2008. – 336 с. – (Малая серия).

Лозина-Лозинский А. К. Противоречия: Собрание стихотворений. 2008. – 648 с. – (Большая серия).

Тарловский М. А. Молчаливый полет: Стихотворения. Поэма. 2009. – 672 с. – (Большая серия).

Вега Мария. Ночной корабль: Стихотворения и письма. 2009. – 528 с. – (Большая серия).

Нарциссов Б. А. Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы. – 2009. – 440 с. – (Малая серия).

Голохвастов Г. В. Лебединая песня: Несобранное и неизданное. – 2010. – 352 с. – (Малая серия).

Садовской Б. А. Морозные узоры: Стихотворения и письма. 2010. – 568 с. – (Большая серия).

Зальцман П. Я. Сигналы Страшного суда: Поэтические произведения. – 2011. – 480 с. – (Малая серия).

Кугушева Н. П. Проржавленные дни: Собрание стихотворений. – 2011. – 336 с. – (Малая серия).

Петров С. В. Собрание стихотворений: Неизданное. 2011. – 688 с. – (Большая серия).

Кленовский Д. И. Полное собрание стихотворений. 2011. – 704 с. – (Большая серия).

Цетлин М. О. (Амари). Цельное чувство: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Бородаевский В. В. Посох в цвету: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Гомолицкий Л. Н. Сочинения русского периода. В 3 т. 2011. – 704 + 672 + 704 с. – (Большая серия).

Аверьянова Л. И. Vox Humana: Собрание стихотворений. – 2011. – 416 с. – (Малая серия).

Тарусский Н. А. Знак земли: Собрание стихотворений. – 2012. – 272 с. – (Малая серия).

Корвин-Пиотровский В. Л. Поздний гость: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 688 с. – (Большая серия).

Ширман Г. Я. Зазвездный зов: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 736 с. – (Большая серия).

Коплан Б. И. Старинный лад: Собрание стихотворений (1919–1940). – 2012. – 160 с. – (Малая серия).

Малахиева-Мирович В. Г. Хризалида: Стихотворения. – 2013. – 608 с. – (Большая серия).

Гингер А. С. Стихотворительное одержанье: Стихи, проза, статьи, письма. В 2 т. – 2013. – 320 + 496 с. – (Большая серия).

Столица Л. Н. Голос Незримого: Стихотворения. Роман в стихах. Сказки и поэмы. Драммы в стихах. Сценические миниатюры. В 2 т. – 2013. – 728 + 672 с. – (Большая серия).

Тарасов Л. М. Отрицательные линии: Стихотворения и поэмы / Сост. и послесловие Ю.Л. Мининой (Тарасовой). – М.: Водолей, 2014. – 704 с. – (Большая серия).

Цетлин М. О. (Амари). Цельное чувство: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Настоящее издание представляет собой наиболее полное собрание стихов поэта М.О. Цетлина (Амари) (1882–1945). В него вошли не только все его поэтические сборники, но и стихи, публиковавшиеся в периодической печати, а также переводы. В приложении печатаются очерки «Наталья Гончарова» и «Максимилиан Волошин».

Творчество Цетлина (Амари) – неотъемлемая часть искусства Серебряного века и истории русской поэзии XX века в целом.

Бородаевский В. В. Посох в цвету: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Валериан Валерианович Бородаевский (1874–1923), самобытный поэт религиозно-философского склада. В 1909 г. довольно ярко заявил о себе сборником стихотворений, вышедшим в издательстве Вяч. Иванова «Орь», но, выпустив в 1914 г. второй сборник, отошел от литературного процесса и надолго оказался забыт. Настоящее издание – первый опыт полного собрания стихотворений Бородаевского, значительная часть которых публикуется впервые.

Гомолицкий Л. Н. Сочинения русского периода. В 3 т. 2011. – 704 + 672 + 704 с. – (Большая серия).

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.

Вступительная статья, представляющая не известные ранее документы и сведения о жизни и творчестве Гомолицкого, позволяет убедиться в том, что место Польши в истории литературы русского Зарубежья в 1930-е годы было сопоставимо с «русским Парижем» и «русской Прагой». Первый том содержит опубликованные и рукописные сборники и циклы стихотворных произведений Гомолицкого, ярко выявляя детали резкой эволюции поэтического сознания и литературной позиции автора на протяжении 1921–1942 гг.

Второй том, наряду с разбросанными в периодических изданиях и оставшихся в рукописи стихотворениями, а также вариантами текстов, помещенных в первом томе, включает ценные поэтические документы: обширный полужаконченный автобиографический роман в стихах «Совидец» и подготовленную поэтом в условиях немецкой оккупации книгу переводов (выполненных размером подлинника – силлабическим стихом) «Крымских сонетов» Адама Мицкевича. В приложении к стихотворной части помещен перепечатываемый по единственному сохранившемуся экземпляру сборник «Стихотворения Льва Николаевича Гомолицкого» (Острог, 1918) – литературный дебют пятнадцатилетнего подростка. Книга содержит также переписку Л. Гомолицкого с А.Л. Бемом, В.Ф. Булгаковым, А.М. Ремизовым, Довидом Кнутом и др.

Третий том содержит многочисленные газетные статьи и заметки поэта, его беллетристические опыты, а также книгу «Арион. О новой зарубежной поэзии» (Париж, 1939), ставшую попыткой подведения итогов работы поэтического поколения Гомолицкого.

Аверьянова Л. И. Vox Humana: Собрание стихотворений. – 2011. – 416 с. – (Малая серия).

Лидия Ивановна Аверьянова (1905–1942) – талантливая поэтесса и переводчица, автор пяти не вышедших в свет сборников стихов, человек драматической и во многом загадочной судьбы. Лирика Л. Аверьяновой вызвала сочувственный интерес у Ф. Сологуба, А. Ахматовой, В. Набокова, Г. Струве и др. Наиболее ценная часть ее литературного наследия – «Стихи о Петербурге»; в 1937 г. они обрели статус «стихов-эмигрантов» и посмертно, в извлечениях, публиковались за рубежом под присвоенным автору псевдонимом А. Лисицкая.

Поэтическое творчество Л. Аверьяновой представлено в книге во всей возможной полноте, большая часть стихотворений печатается впервые. В основу издания легли материалы из фондов Пушкинского Дома (СПб.) и Гуверовского института (США).

Тарусский Н. А. Знак земли: Собрание стихотворений. – 2012. – 272 с. – (Малая серия).

В настоящем издании впервые собраны под одной обложкой стихи Николая Алексеевича Тарусского (наст. фам. Боголюбов; 1903–1943). Малоизвестный (или сознательно выдерживающий дистанцию) участник литературной жизни 1930-х гг., врач, путешественник, охотник, рыболов, Тарусский был поэтом редкого у нас тематического спектра: в его внешне невозмутимые описания природы вплетены эсхатологические проекции, выраженные скучным и звучным стихом. Часть стихотворений печатается впервые.

Корвин-Пиотровский В. Л. Поздний гость: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 688 с. – (Большая серия).

Поэт первой волны эмиграции Владимир Львович Корвин-Пиотровский (1891–1966) – вероятно, наименее известный из значительных русских поэтов XX века. Он играл немалую роль в период краткого расцвета «русского Берлина», однако и позднее оставался заметной фигурой в других центрах русской диаспоры – Париже и Соединенных Штатах. Ценимый еще при жизни критиками и немногочисленными читателями – в том числе Бердяевым, Бунинным, Набоковым, – Корвин-Пиотровский до сих пор не обрел в истории русской литературы места, которое он, несомненно, заслужил.

Собрание сочинений В. Л. Корвин-Пиотровского выходит в России впервые. Помимо известного двухтомного собрания «Поздний гость» (Вашингтон, 1968), не успевшего выйти при жизни поэта, оно содержит произведения, которые автор, опубликовав в ранние годы творчества, под конец жизни не признавал, а также значительное количество никогда не публиковавшихся стихотворений.

Ширман Г. Я. Зазвездный зов: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 736 с. – (Большая серия).

Творчество Григория Яковлевича Ширмана (1898–1956), очень ярко заявившего о себе в середине 1920-х гг., осталось не понято и не принято современниками. Талантливый поэт, мастер сонета, Ширман уже в конце 1920-х выпал из литературы почти на 60 лет. В настоящем издании полностью переиздаются поэтические сборники Ширмана, впервые публикуется анонсированный, но так и не вышедший при жизни автора сборник «Апокрифы», а также избранные стихотворения 1940–1950-х гг.

Коплан Б. И. Старинный лад: Собрание стихотворений (1919–1940). – 2012. – 160 с. – (Малая серия).

Борис Иванович Коплан (1898–1941) был более известен как историк русской литературы XVIII и первой половины XIX веков. Он выпустил лишь небольшой сборник «Стансы» (1923), хотя стихи продолжал писать всю жизнь.

В основу книги положен авторский рукописный сборник, сохранившийся, несмотря на аресты, заключение, ссылку автора и его гибель в тюрьме во время блокады Ленинграда. Настоящее издание полностью представляет читателю поэтическое наследие Б. Коплана. Более 50 стихотворений публикуются впервые.

Малахиева-Мирович В. Г. Хризалида: Стихотворения. – 2013. – 608 с. – (Большая серия).

Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович (1869, Киев – 1954, Москва) – автор почти четырех тысяч стихотворений. Первые ее сохранившиеся стихи датируются 1883-м годом, последние написаны за год до смерти. Подруга Льва Шестова и Елены Гуро, Даниила Андреева и Игоря Ильинского, переводчица Бернарда Шоу и «Многообразия религиозной жизни» Уильяма Джеймса, Малахиева-Мирович – старейший автор неофициальной литературы, оставшийся до конца дней верным символизму, но открывший внутри символистской системы возможности иронически отстраненного реалистического письма.

Основу издания составил свод избранных стихотворений поэта, никогда не появлявшихся в печати, а также единственная изданная при жизни книга стихотворений «Монастырское» (1923) и немногочисленные прижизненные публикации.

Гингер А. С. Стихотворительное одержанье: Стихи, проза, статьи, письма. В 2 т. – 2013. – 320 + 496 с. – (Большая серия).

Настоящее издание, в которое включены все выявленные на сегодняшний день тексты известного русского эмигрантского поэта Александра Самсоновича Гингера (1897–1965), дает наиболее полное представление о его литературном и эпистолярном наследии. I-й том наряду с поэтическим творчеством Гингера знакомит с его опытами в области прозы и эссеистики. Во II-й – включена переписка Гингера и его жены, поэтессы Анны Семеновны Присмановой (1892–1960) с представительным кругом поэтов и писателей русского зарубежья, а также разнообразные материалы, связанные с определением места обоих в истории эмигрантской литературы. Книга снабжена подробными комментариями и иллюстративным материалом.

Столица Л. Н. Голос Незримого: Стихотворения. Роман в стихах. Сказки и поэмы. Драммы в стихах. Сценические миниатюры. В 2 т. – 2013. – 728 + 672 с. – (Большая серия).

Имя Любви Никитичны Столицы (1884–1934), поэтессы незаурядного дарования, выпало из отечественного литературного процесса после ее отъезда в эмиграцию. Лишь теперь собрание всех известных художественных произведений Столицы приходит к читателю.

В первом томе представлены авторские книги стихотворений, в том числе неизданная книга «Лазоревый остров», стихотворения разных лет, не включенные в авторские книги, и неоднократно выходивший отдельным изданием роман в стихах «Елена Деева». Во второй том вошли сказки в стихах, поэмы и драматические произведения.

Тарасов Л. М. Отрицательные линии: Стихотворения и поэмы / Сост. и послесловие Ю.Л. Мининой (Тарасовой). – М.: Водолей, 2014. – 704 с. – (Большая серия).

Лев Михайлович Тарасов (1912–1974) – поэт, прозаик, художник, искусствовед, специалист по изобразительному искусству второй половины XIX в. Как сын белоэмигранта, с юных лет он оказался на периферии «нового общества», не вписавшись в него ни социально, ни эстетически. Воспитанный на классической литературе, соединяющий в своих стихах творческие принципы и символистов, и «будетлян», влюбленный в поэзию А. Блока и В. Хлебникова, несостоявшийся ученик Андрея Белого, Лев Тарасов создал собственный поэтический мир, оставшийся практически неизвестным читателю. Многолетний сотрудник Третьяковской Галереи а затем – редактор издательства «Искусство», он оставил огромное творческое наследие: стихи, поэмы, прозу, дневники, рисунки. «Отрицательные линии» – первая попытка с достаточной полнотой представить поэтическую часть этого наследия.

**Книги издательства «Водолей»
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:**

ГУП «ОЦ»Московский Дом книги»

119019, Москва, ул. Н.Арбат,7
тел. (495) 789-35-91

ТД «Библио-Глобус»

101990, Москва, ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1
тел. (495) 781-19-00

Дом книги «Молодая гвардия»

119180, Москва, ул. Б. Полянка, 28, стр. 1
тел. (495) 238-00-32

ТДК «Москва»

125009, Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1
тел. (495) 629-73-55, (495) 629-64-83

Галерея книги «НИНА»

Москва, ул. Волхонка, 18 / 2
тел. (495) 201-36-45

Книжный магазин «Русское зарубежье»

109240, Москва, ул. Н.Радищевская,2
тел. (495) 915-00-83, (495) 915-27-97

Книжный магазин «Фаланстер»

109012, Москва, М. Гнезниковский пер.,12/27
тел. (495) 749-57-21

Оптовая торговля: ООО «КнАрт»

E-mail: knarttd@mail.ru тел. 8-916-119-67-20